

ЧЕМИРОВИЧЪ-ДАНЧЕНКО  
БОГОСЛОВІЕ  
СИМФОНИ



МОНХЕНІ<sup>2</sup>  
1 · 9 · 2 · 2

9256

882-3

Г. В. Немировичъ-Данченко.

Симфония № 253

“

Однотомник

# ЛѢТО ГОСПОДНЕ.

СИМФОНИИ.



*Немировичъ*

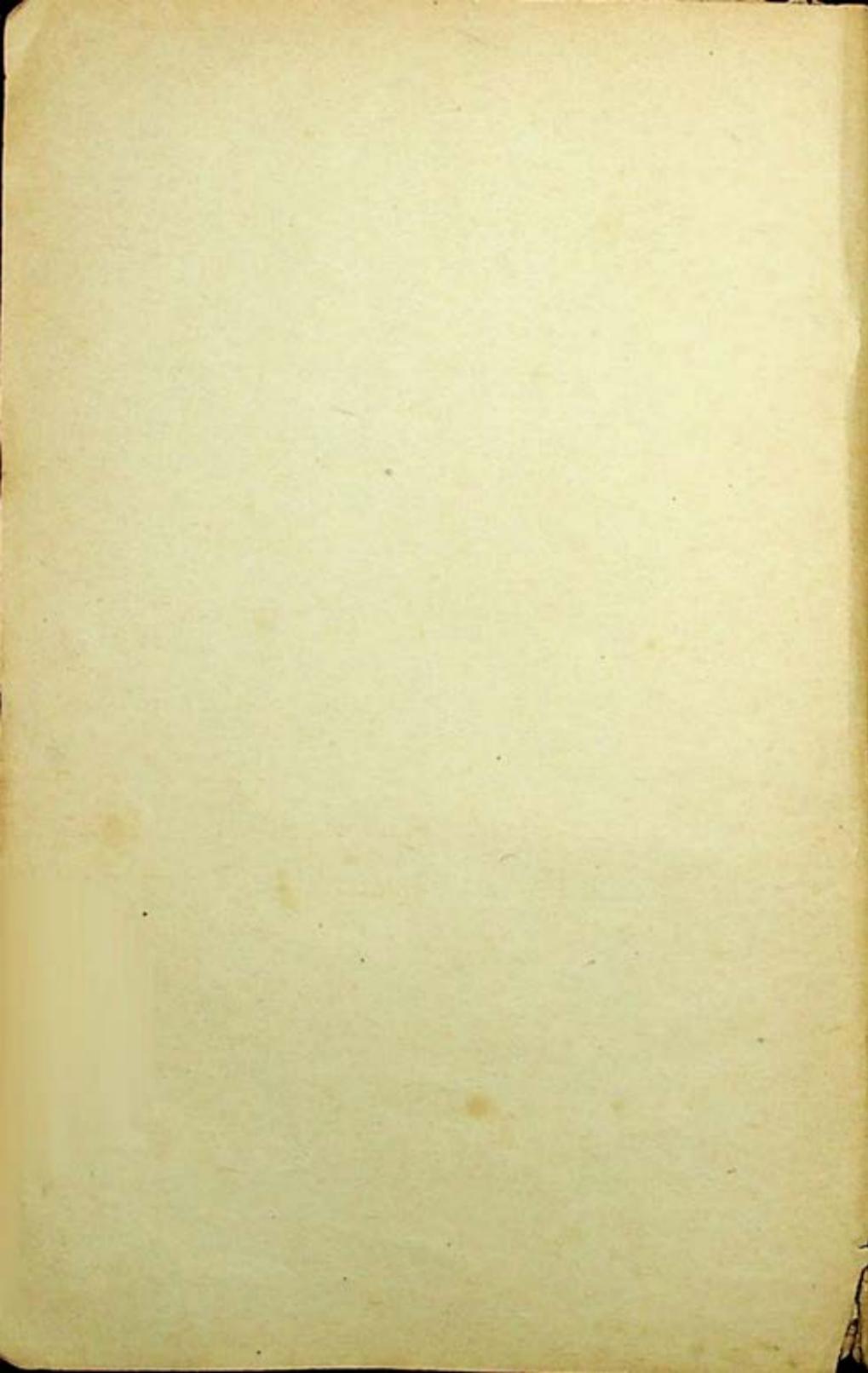
---

Мюнхенъ 1922.

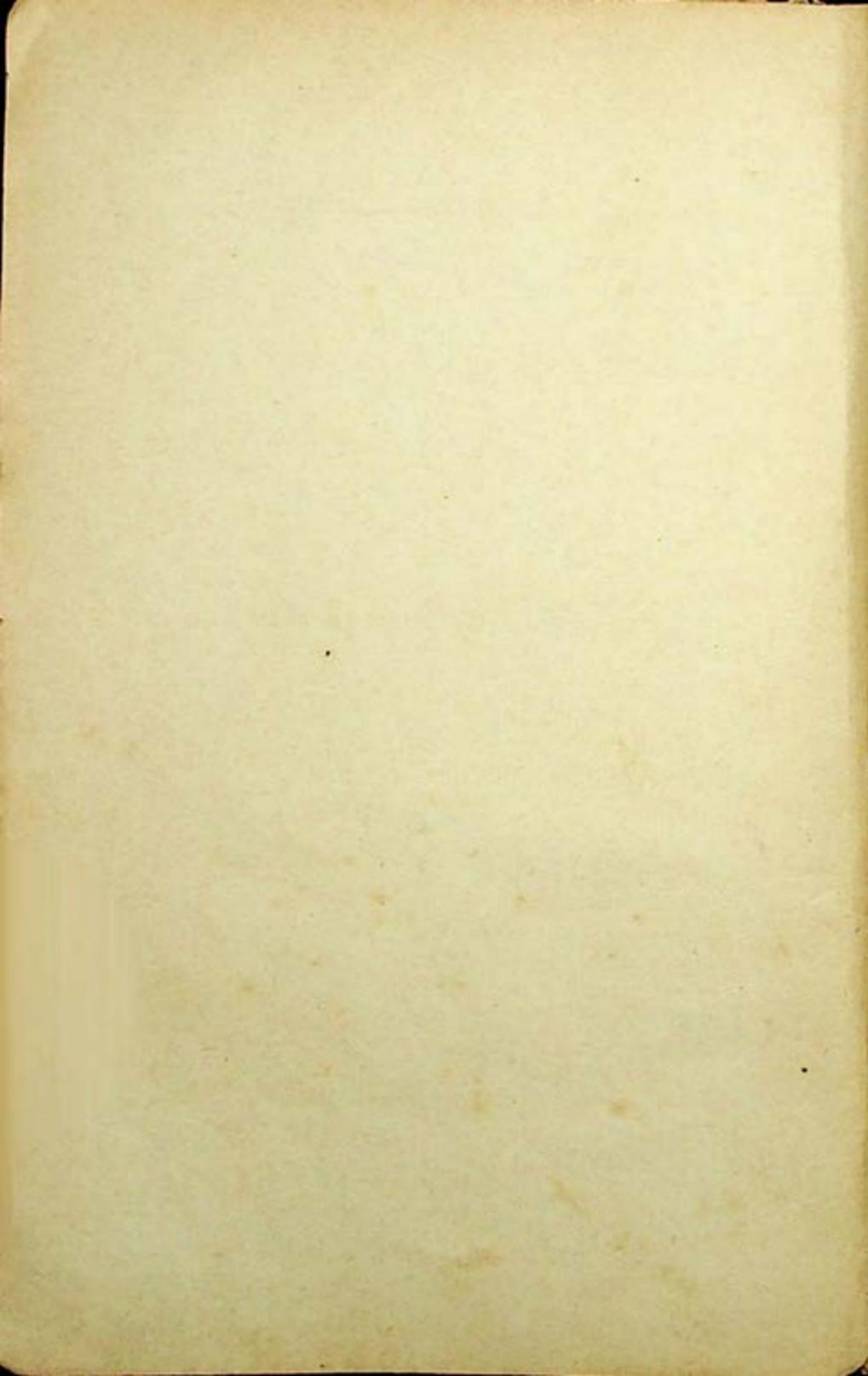
Всѣ права сохраняются за авторомъ.  
Alle Rechte vorbehalten.

Copyright by R. Oldenbourg, München.

*Памяти невинныхъ.*



## **ВСТУПЛЕНИЕ.**



---

Въ этотъ вечеръ — 11 ноября 1920 года — пос-  
лѣдній вечеръ моего пребыванія на родинѣ, я  
вернулся домой, подавленный всѣмъ, что приш-  
лось увидѣть и услышать.

Цѣлый день бродилъ я по Севастополю, охва-  
ченному лихорадкой отѣзда. На фронтѣ твори-  
лось что-то непонятное. Тылъ отвѣтилъ на это  
тѣмъ, что показалъ свою полную готовность къ  
эвакуаціи.

Дома я нашелъ на столѣ письмо и пакетъ, пе-  
ревязанный медицинскимъ бинтомъ.

Письмо было отъ одного моего друга по школьн-  
ной скамьѣ, музыканта и философа, съ которымъ  
судьба свела меня неожиданно въ Крыму.

Вотъ, что писалъ онъ мнѣ:

„Не считай меня за большевика или за су-  
масшедшаго, но мы съ женой рѣшили остаться.  
Ты знаешь, какъ я ненавижу людскую панику  
и суету и боюсь человѣческаго стада, а по-  
тому поймешь, что иначе я поступить не могу.

Я остаюсь, потому что мнѣ было бы тяжело  
разстаться съ могилой Сына, съ могилой всего  
того, что мы привыкли называть Россіей. Отъ  
судьбы не уйдешь. Лучше, право, одинъ ко-

иенъ, чѣмъ эти униженія предъ цивилизованнымъ мѣщаниномъ запада.

Но я все-же не хочу искушать судьбу и уѣзжаю завтра на разсвѣтъ въ одну татарскую деревню.

А покамѣсть у меня къ Тебѣ просьба: захвати, пожалуйста, съ собой либретто моихъ симфоній, которыя я посылаю Тебѣ. Какъ-то жалко было все это уничтожить; я же хочу быть теперь налегкѣ.

Можеть быть, ониѣ могутъ заинтересовать Тебя, какъ литературный материалъ. Если нѣть,—положи на дно чемодана и забудь о нихъ до лучшихъ временъ.

Прощай. Будь счастливъ.“ Слѣдовала подпись.

Это письмо поразило меня, какъ громомъ.

Въ воображеніи вдругъ всталъ уголокъ старой Аппіевої дороги, за воротами Св. Себастіана въ Римѣ, и Спаситель, идущій съ крестомъ на плечахъ навстрѣчу апостолу Петру:

— Domine, quo vadis?

— Venio Roman iterum crucifigi. . . .<sup>1)</sup>

Конечно, читать принесенную рукопись было поздно (у меня еще ничего не было уложено), и она въ первую очередь попала на дно моего бѣженского чемодана.

Я вспомнилъ о „завѣщаніи“ друга лишь на о. Халки, гдѣ „цивилизованный мѣщанинъ“ выдер-

<sup>1)</sup>) — Куда идешь, Господи?

— Иду въ Римъ, чтобы снова распяться.

живалъ меня полтора мѣсяца прежде, чѣмъ пу-  
стить предъ свои свѣтлые очи.

Довольно объемистая тетрадь была сплошь  
исписана первымъ, разборчивымъ почеркомъ.  
Среди цитатъ, эпиграфовъ и ссылокъ кое-гдѣ пона-  
дались музыкальные темы, съ обозначеніемъ тем-  
повъ и даже инструментовки.

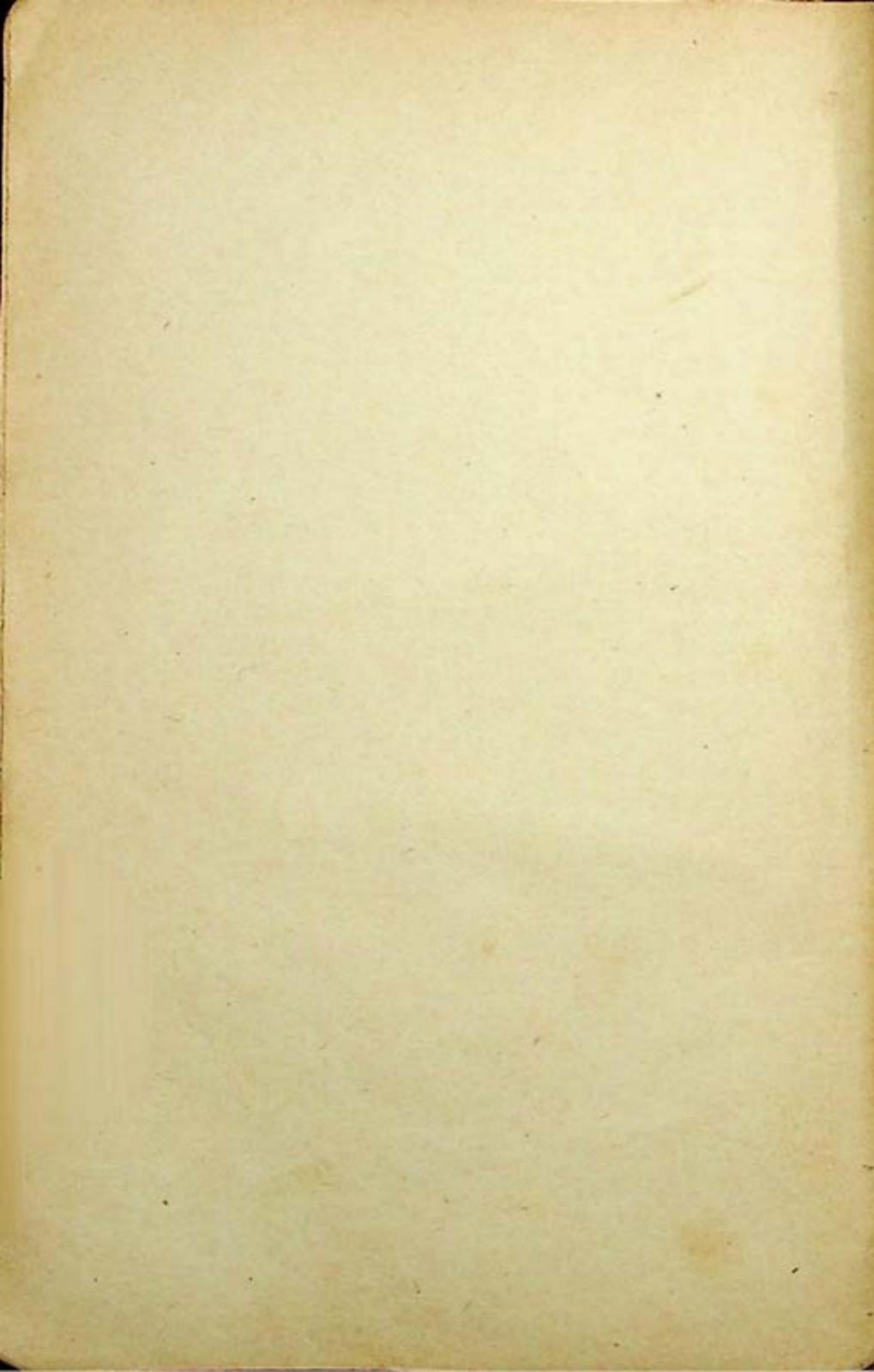
Я попробовалъ извлечь изъ всего этого литера-  
турный остатокъ, съ сохраненіемъ послѣдователь-  
ности изложения. Получился рядъ стихотворе-  
ний въ прозѣ, сгруппированныхъ по призна-  
камъ господствовавшихъ настроений.

Результатомъ этой работы явилась настоящая  
книга, которую я выпускаю въ свѣтъ съ цѣлью оз-  
накомленія интересующихся съ тѣми новыми за-  
просами, которые народились въ Смутное время въ  
сокровенныхъ тайникахъ русской души.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, учитывая неподготовленность  
извѣстной части критики къ воспріятію многихъ  
сдѣланныхъ мною другомъ утверждений, я быль  
бы весьма признателенъ, если бы читатель отнесся  
къ непечатаемымъ отрывкамъ, какъ къ документу о  
страданіи человѣческаго духа.

Мюнхенъ, 2(15) Августа 1921 г.

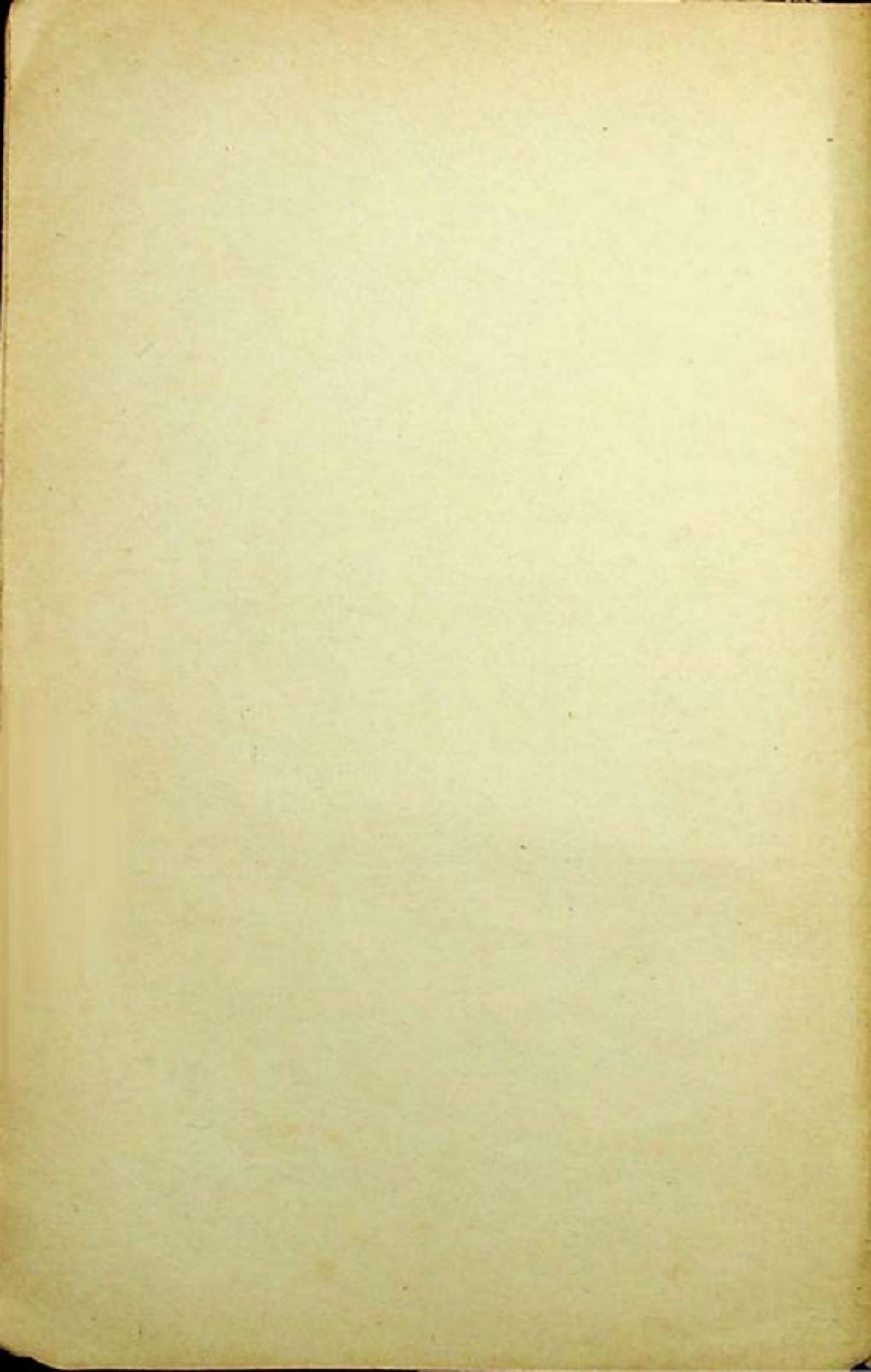
Г. Н.-Д.



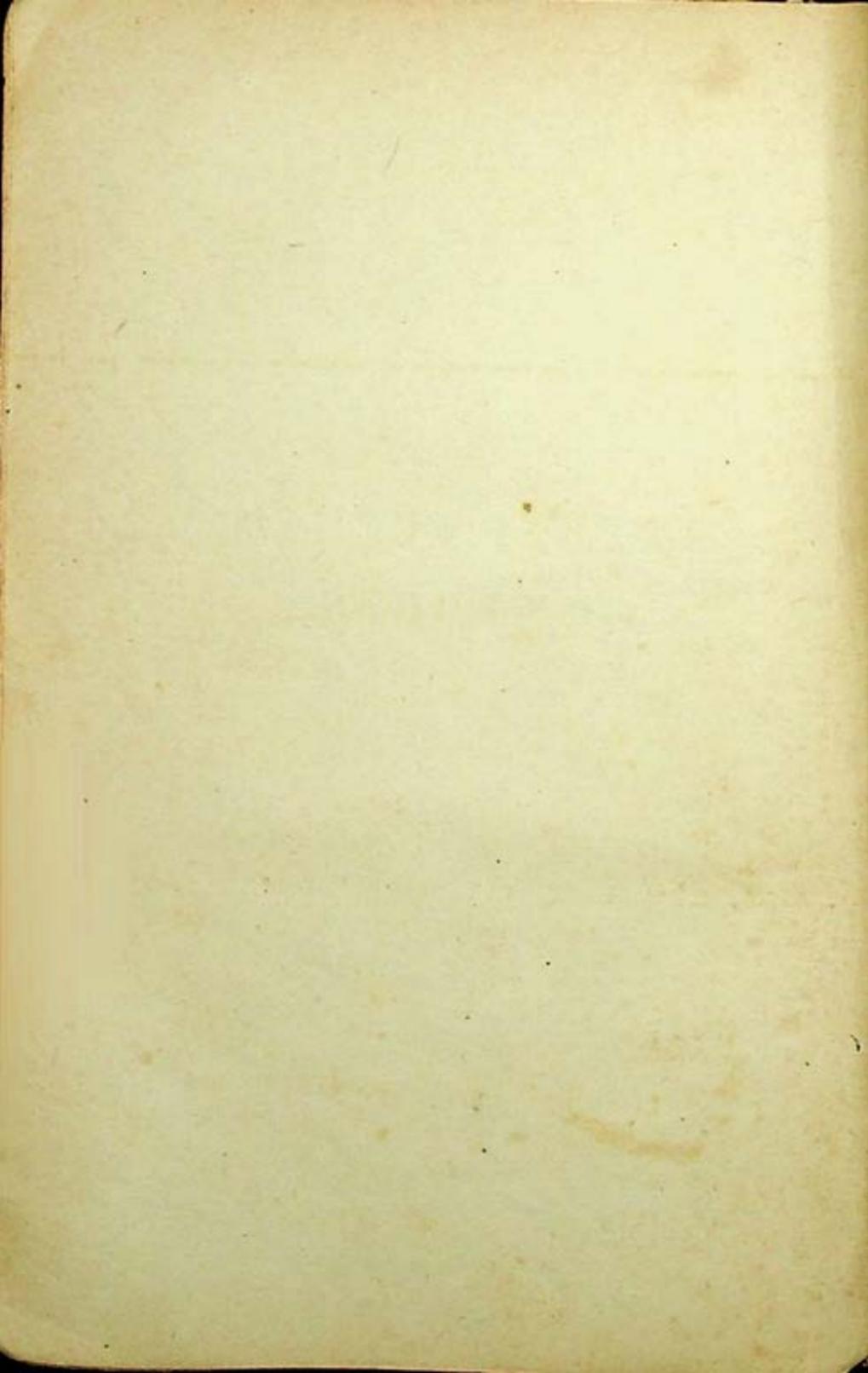
*„Духъ Господень на Миь;  
ибо Онъ помазалъ Меня bla-  
говѣствовать нищимъ, и пос-  
лалъ Меня исцѣлять сокру-  
шеннѣхъ сердцемъ, проповѣ-  
дывать пльннымъ освобожде-  
ніе, слѣпымъ прозрѣніе, от-  
пустить измученнѣхъ на сво-  
боду.“*

*Проповѣдывать лѣто Го-  
сподне благопріятное.“*

*Исаія 61, 1—2.*



**ПАТЕТИЧЕСКАЯ  
СИМФОНИЯ.**



---

---

*Memento mori.*

I.

*Adagio.*

Мы рабы Рока. Только Духъ свободенъ, но тамъ,  
„по ту сторону добра и зла“.

Здѣсь мы живемъ, наслаждаемся жизнью, ловимъ краткій мигъ счастья и теряемъ его... Любимъ и тоскуемъ, ненавидимъ и прощаемъ, поднимаемся и падаемъ...

Но всегда: и за повседневной работой, и за винной чашей въ кругу друзей, и въ объятіяхъ любимой, въ чась бурной радости и красивой печали, въ весеннюю соловинную ночь, и въ осеннее багряное утро — Рокъ напоминаетъ:

Помни о Смерти!

И мы боимся ее, эту блѣдную, непрошеннюю гостью, потому что не знаемъ, не умѣемъ ее побѣдить.

Она сильнѣе насть...

---

Они были сѣры, эти зимніе, петербургскіе будни во время войны. Всѣ сустились, точно дѣлали что-то ненужное. Но у всѣхъ было въ глазахъ:

„Такъ надо для Россіи! Врагъ долженъ быть побѣженъ!“

А молодое сердце тянулось къ мечтѣ, къ поцѣлую. Хотѣлось пережить хоть еще одну весну, а тамъ — хоть трава не расти!

---

Особнякъ на Фурштадтской...

Кабинетъ, уставленный мебелью емпіре краснаго дерева, крытой плюшемъ цвѣта персипѣйской малины. Ватто и Рембрандтъ на стѣнахъ. Поль покрыть персидскимъ ковромъ, сидя на которомъ мечталъ Алчевскій.

Мысли ложатся въ стройныя строфы... Рифмы приходятъ чередою...

Въ вечеръ Рождественскій сердится выюга,  
Съ плачемъ царапая стекла въ окошкѣ;  
А на диванѣ, обнявши другъ друга,  
Нѣжатся двѣ восхитительныхъ кошки.

Что за игра прихотливыхъ движений,  
Дѣтскости милой, коварства тигрицы,  
Сколько изящества, граціи, лѣни! —  
Сердце трепещетъ, разсудокъ мутится.

Круглые глазки невинно зажмуря,  
Вы огонекъ притаили лукавый...  
Знаю, что это затишье предъ бурей,  
Отыхъ короткій для новой забавы.

Съ трепетомъ чую въ мурлыканы звонкомъ  
Близость потѣхи мучительно сладкой...  
Будете сердцемъ играть, какъ мышечкомъ!  
И наигравшись, зѣвиете украдкой!

---

Мы играли втроемъ въ какую-то странную игру.  
Я и „двѣ кошки“. Одна ребенокъ, другая — ти-  
грица.

И, прислушиваясь къ ихъ мурлыканью долгую,  
зимнюю ночь, я уносился коварной мечтой туда...  
гдѣ христіане убивали другъ друга изъ за торгового  
договора или клочка земли въ нѣсколько сотенъ  
тысячъ гектаровъ.

Или изъ за того, что старый Крупинъ надѣлалъ  
слишкомъ много стальныхъ игрушекъ. Игру-  
шекъ, отъ которыхъ живые, молодые, честные и  
красивые падаютъ трупами.

И сколько ихъ: статистика еще не знаетъ такихъ  
цифръ! ...

Я лежу и мечтаю. Пришла весна. . . .

Дѣвушка съ пепельными волосами, поѣдемъ въ  
Павловскъ! Въ милый старый Павловскъ. Ты —  
приѣхала въ столицу съ юга, изъ старинной усадьбы.

Хочешь я тебѣ покажу паркъ причудъ Павла?  
Хочешь я тебѣ покажу эстраду, гдѣ дирижировалъ  
своими вальсами Штраусъ, танцуя на одной ногѣ?

А наши бабушки сходили съ ума, дѣлали глупо-  
сти и подносили заѣзжему вѣнцу подушки, вы-  
шитыя руками въ алмазныхъ и жемчужныхъ перст-  
няхъ.



Въ этомъ паркѣ бѣгали еще барышни Шнейдеръ, воспѣтыя Юріемъ Бѣляевымъ.

Былъ тоже такой мечтатель въ С. Петербургѣ. Только теперь барышни Шнейдеръ — не барышни, а сестры и работаютъ въ Варшавѣ. . . .

Пойдемъ со мною въ бѣлую ночь къ Бѣлой Березѣ!

Потому что предъ эстрадой слишкомъ нарядно и чинно, а духовая музыка играетъ боевые марши.

И ходять, ухаживая за барышнями, юные корнеты съ забинтованными головами.

Я же хочу мечтать! Скоро выглянеть луна, и мы побѣжимъ туда, гдѣ Аполлонъ, окруженный граціями и музами, замеръ съ лирой въ рукахъ.

Онъ ждетъ Солица! Теперь же ворожить Артемида!

Пойдемъ! Оторвемся на мигъ отъ кошмара войны. Я люблю тебя! . . .

Я люблю твои пепельные волосы, твои сѣрые глаза, отразившіе зеркало деревенскаго пруда, въ которомъ рѣзвятся дѣдушки-караси. . . .

Я люблю тебя! —

---

Ахъ, какъ хочется жить — долго, долго. . . .  
Я такъ боюсь Смерти. . . . Я молодъ, я еще не жилъ, т. е. не любилъ. Ты моя первая и единственная.

Смерть — пощади, повремени! Я же не уйду отъ тебя! То, что написано въ книгѣ судебъ, да сбудется! Отъ Судьбы не уйдешь! А пока я люблю

тебя, моя русская девушка изъ старинной усадьбы. . .

Помнишь пѣсню выигравшаго Германа:

Что наша жизнь — игра! . . .  
Сегодня ты, а завтра — я!  
Пусть неудачникъ плачетъ!

---

Я полюбилъ ее.

Она скоро уѣдетъ на югъ, но она будетъ мою — на всю жизнь!

Какъ странно! Въ тотъ вечеръ, когда я просилъ твоей руки, умирала моя тетушка-графиня.

Ты же еще не была моей невѣстой.

Тебя знали мои, какъ хорошую, опытную сестру милосердія.

И тебя вызвала по телефону моя мать, не догадываясь, что я съ тобою. . .

Я тебя проводилъ до Сапериаго въ майскую, дождливую ночь.

Ты должна была вспрыснуть камфору умирающей руками, еще дрожавшими отъ моихъ поцѣлувѣй.

Но графиня умерла на другое утро. Ты же уѣхала, потому что билеты на Севастопольскій поѣздъ уже были взяты твоими.

А я, проводивъ тебя, долженъ былъ хоронить графиню. Ея супругъ, кониозаводчикъ и спортсменъ, умеръ въ прошломъ году въ Яновѣ. Восемнадцатилѣтній красавецъ-сынъ былъ взятъ въ пленъ подъ Таниенбергомъ среди остатковъ гвар-

дії Кексгольмскаго полка, а мужъ дочери — со-  
всѣмъ недавно убить подъ Варшавой.

Она хорошо сдѣлала, что умерла во время, моя  
тетушка-графиня, но оставила трехъ дочерей и  
маленькаго сына одинокими и беспомощными...

Я хоронилъ ее.

Какая она была красивая и надменная въ  
гробу! ...

Мы несли ее по Царскому на кладбище, а  
сердце призываю молило:

„Я люблю Тебя!!“ ...



II.

Allegro.

Я бѣжалъ изъ этого сумасшедшаго города, гдѣ начинался собачій пиръ.

Вотъ старый домъ. Вотъ аллея тополей, уходящая въ сизыя, ранилія сумерки. Какая туманная осень на югѣ!

Я сижу за моимъ Дидерихсомъ, котораго я не оставилъ, какъ друга, на съѣденіе псамъ революціи.

Ты снова со мною. . . . Ты теперь для меня все: и девушка, и мама. Съ нами нашъ Сынъ.

Какой Онъ шаловливый и граціозный! Какъ Онъ славно ходить! Слышишь?

Топъ-топъ! топъ-топъ! —

Настоящій мужчина!

Топъ-топъ, иди сюда! Дай я загляну въ Твои умные глаза и поцѣлую шелковые волосы, отъ которыхъ такъ вкусно пахнетъ.

Меня никто еще не обнималъ такъ нѣжно, какъ Ты, когда я говорю:

— Топъ-Топъ, пожалѣй папу!

Петербургскій самоваръ поетъ наивную пѣсенку, стоя на петербургскомъ кругломъ столѣ темнаго дуба.

Какъ тихо въ деревнѣ. . . Я перечитываю Пушкина, Алексія Толстого, Фета и Соловьева Владимира.

Шумъ „великой и безкровной“ еще не доказался до Топольковъ.

Сегодня Макаръ сказалъ мнѣ вечеромъ, что усадьба генеральши Тиньковой разграблена и сожжена возставшимъ народомъ.

Ея любимую болонку сожгли живьемъ на ея глазахъ, а затѣмъ старухѣ отрубили голову.

Выбросили со второго этажа стариный клавесинъ, на которомъ когда-то играла Екатерина, и оборванныя струны рыдали на дворѣ, точно живыя. . .

Всего не перечтешь.

Я боюсь Смерти. Я боюсь встрѣтиться съ Нею на твоихъ глазахъ глазахъ и на глазахъ нашего Иѣжнаго Сына.

Я боюсь, что упаду на колѣни предъ хамомъ!..

Наше гибѣадо разорять. Если вы уцѣлѣете, пойдете съ рукою.

Я долженъ жить, потому что мнѣ хочется подать Россіи Сына. Конечно, когда Онъ вырастетъ! . .

Слушай, какая это дивная мелодія!

Видишь какъ кружатся пары на зеркальномъ паркѣтѣ подъ вальсъ изъ Лебединаго Озера?

Помнишь, какъ подъ него кружились въ первый разъ въ пустой залѣ на Фурштадтской ты и я? Я тебя тогда обнялъ впервые. . .

Быстро подходитъ зима. По вечерамъ лунно и жутко. Я началъ читать Тэна.

Я люблю тебя и играю съ Сыномъ.  
И миѣ сладко спится около васъ! Миѣ тогда  
ничего не надо. . . .  
Эй вы! Приходите же скорѣе, берите все, что  
вамъ понравицѧ, но оставьте же, наконецъ, нась  
въ покоѣ!



### III.

#### Allegro.

Я опять во время бѣжалъ къ вамъ, но чуть не попалъ по дорогѣ въ лапы людей съ хвостами на головѣ.

Вы же жили въ домѣ Кошки-Тигрицы, въ городе дюка Ришелье, что у Чернаго моря.

Изъ вашихъ оконъ былъ видѣнъ памятникъ Екатеринѣ.

Съ парохода, наполненнаго ликовавшими при видѣ французскаго флага россіянами, я добѣжалъ до вашего дома.

Тебя я нашелъ въ постели. Ты была больна, моя Родная!

Мнѣ сказала Кошка:

— Ты долженъ высѣчь свою жену. Она дралась съ петлюровцами въ отрядѣ Гришина-Алмазова. А я . . . тебя расѣловалъ!

Пришелъ Топъ-Топъ съ прогулки.

Какой онъ хорошенький въ своей поддевочкѣ! И какъ онъ выросъ!

Конечно, онъ будетъ добровольцемъ! Мы ему нашли на матроску трехцвѣтную ленточку.

Какъ онъ увѣренно ходить!

Топъ-Топъ! Топъ-Топъ! . . .

Настоящій Семеновецъ!!

Я Его вожу каждый день гулять, и все Имъ любуются.

Но какъ все вокругъ бѣсится!

Банкиры, сахарозаводчики, столбовые дворяне, только что проводивши съ поклономъ нѣмцевъ, бѣгло заговорили по французски.

Все уже рѣшили, что удерутъ если что, въ Парижъ. . . . И даже пароходы стоять подъ парами!

Проходили французы, зуавы, греки, фессалійцы, спартанцы, фракійцы, индокитайцы, пропадали за городомъ, въ туманной дали и . . . возвращались другимъ путемъ на свои корабли.

Эти все ждали только приказа, чтобы удирать.

А наши — чтобы умирать. . .

А тѣ — чтобы убивать!

Но я остался съ тобою и съ Сыномъ въ этой чужой роскошной квартирѣ.

Остался потому, что если мнѣ суждено идти съ рукой, то я буду просить только по русски.

---

Они пришли съ красными знаменами и въ мгновеніе ока выбросили насъ на улицу.

А въ „нашей“ квартирѣ устроили чрезвычайку, гдѣ мучили и убивали нашихъ.

Но ничего! Наши вернутся! Неправда ли Топъ-Топъ, и тогда мама опять нашьетъ Тебѣ на матроску трехцвѣтную ленточку?

Въ городѣ страшно отъ убийствъ. Извъ всѣхъ подваловъ пахнетъ кровью, на всѣхъ лужайкахъ можно натолкнуться на русоволосый трупъ; много ихъ поглотило бездонное море.

140 вечеровъ я молилъ Рокъ даровать мнѣ жизнь. Я такъ боялся, что мы упадемъ на колѣни предъ хамомъ.

Но наши уже недалеко!

Эти безусые мальчики въ лохмотьяхъ, ушедшие въ мартовскую ночь съ позоромъ, должны же вернуться со славой!

Неправда ли, мой Добровольчикъ?

Онъ такъ забавно отвѣчаетъ, когда мои „гидры контроль-революції“ спрашиваютъ, кто онъ — большевикъ или доброволецъ?

— Доброволецъ!

И хлопнувъ дверью, уходитъ драться съ мальчишками.

Вонъ какъ шагаетъ:

Топъ — топъ — топъ — топъ!

---

Дѣти! Сегодня день радости!

Трахъ!! — Слыхали?

Не бойтесь! Все хорошо! Это съ Корнилова стрѣляютъ!

Трахъ! Еще! Ну хорошенько! — Трахъ!

Снарядъ разорвался надъ нашимъ домомъ.

Это ничего! Только прячтесь — вѣдь глупо погибнуть теперь!

Трахъ! Трахъ!

Роднал, уводи Сыночка!

Ты смѣешься? Ты танцуешь? Ты хочешь бѣжать на улицу безумная! Они же еще здѣсь!

Трахъ — трахъ! Ба-бахъ!

Топъ-Топъ! Прячься подъ кровать, если Ты струсилъ! Нѣть? — Молодецъ!

Только удержи за юбку свою шалую мамашу — у отца нѣть силъ — у него разорвется сердце!  
Топъ! Топъ! Топъ! Топъ!

Пусть разорвется! По крайней мѣрѣ умру съ мыслью, что этихъ гадовъ раздавили!!

---

Къ ночи стихло. . . . Ночью никто не раздѣвался и не подходилъ къ постели.

На утро — радость!! 200 мальчиковъ въ лохмотьяхъ выгнали 13000 въ шубахъ и шинеляхъ, великолѣпно экипированныхъ, но обремененныхъ золотомъ и драгоцѣнными камнями.

— Вонъ!!!

Топъ-Топъ, иди скорѣй я Тебя расцѣлую!  
И ты, Родная! Ты плачешь?

Чего жъ ты плачешь? Отъ радости?

Смотри какъ я радуюсь. . . Но дай мнѣ всетаки поскорѣе носовой платокъ.

Топъ-Топъ, веселѣй смотрѣть! Папа съ мамой июни распустили, а Ты же у меня молодецъ!

Вонъ какъ шагаетъ!

Топъ — топъ! Топъ — топъ!

— Да здравствуетъ Россія!!

Идемте же скорѣе на улицу!

Пусть все русские выйдут на улицу, потому  
что насы въ этомъ городѣ мало.

Эй вы, сторонитесь! Прочь съ дороги!

Русь идетъ!!

Топъ — топъ! Топъ — топъ!

Но почему же все плачутъ и цѣлуются?

А тогда въ мартѣ не плакали и не цѣловались!

И въ Петроградѣ тогда въ февралѣ тоже не  
плакали и не цѣловались! А глумились и уби-  
вали! . . .

Родная, смотри на русского генерала въ золо-  
тыхъ погонахъ!

У него Бѣлый Крестъ на шеѣ и самъ онъ двѣ  
капли воды — Скобелевъ!

Цвѣты, цвѣты! О, слишкомъ много цвѣтовъ!!

Молебенъ въ Соборѣ подъ грохотъ умолкаю-  
щихъ пушекъ. Парадъ! И какой парадъ: какіе  
все молодцы и красавцы! Дѣти, смотрите:

Топъ — топъ! Топъ — топъ!

Спасибо, родные, голубчики за Русскую Сво-  
боду! Спасибо за кровь вашу. . . .

Мы опять будемъ жить своимъ умомъ и нами  
опять будутъ править русские генералы и са-  
новники, а не каторжники, палачи, и эти . . .  
китайцы и латыши — что ли?

Топъ — топъ! Топъ — топъ! . . .

---

Мы свободны! Мы плывемъ по гладкому, какъ  
лука, морю, поглотившему столько русоволосыхъ  
юношей, мужей, старцевъ и дѣвушекъ. . . .

Мои дѣти спать въ каютѣ, какъ дома.

Я курю на носу, и лунный столбъ въ водѣ, точно  
прямая дорога Домой. . . .

Опять увижу старый домъ и аллею тополей,  
уходящую въ сизыя, раннія сумерки.

Опять подсяду къ другу-Дидерихсу и пере-  
листаю Пушкина, Толстого, Соловьева и Тэна.

Если ихъ не сожгли!

Сердце! Бѣдное сердце! Почему же ты опять  
тоскуешь?

Усни. . . .



IV.

Finale.

Гдѣ мы? Въ осажденной крѣпости? Или на вершинѣ соціального благополучія?

Совсѣмъ какъ въ 1855.... Только тогда осаждали англичане, французы, турки, итальянцы. Теперь идутъ свои, а англичане сами, того и гляди, удеруть.

Мы привезли Топъ-Топа въ нетопленной теплушки.

У него три ночи подрядъ 40° и судороги.... Зачѣмъ мы это сдѣлали? — Чтобы спасти свою шкуру?

Мы все потеряли.... И Пушкина, и Дидерихса и Тэна! И голову!

Нѣть, кажется, еще голова на плечахъ! Можетъ быть, скоро упадетъ. Но пока ничего — качается....

Насъ разбросала судьба, какъ щепки.... Мы здѣсь, отецъ въ Ростовѣ, братъ въ Новороссійскѣ.... сестра за границей....

А самый молодой и храбрый — въ Харьковѣ,  
со старухой матерью, въ сыпномъ тифѣ. . . .

---

Топъ-Топъ не выживетъ. . . .  
Въ комнатѣ текутъ стѣны.  
И то спасибо, — что пустили, Христа ради . . .  
за 11 фунтовъ хлѣба въ сутки. . . .  
А кто виноватъ? — И красные, и бѣлые. . . .  
Но больше всѣхъ — я!  
Почему я мечталъ эти два года, прячась за  
чужія спины?

Если бы мы, мечтатели, всѣ были тамъ, подъ  
Орломъ, намъ бы не пришлось съ дѣтьми мчаться  
зимой въ теплушкахъ, отнимая другъ у друга  
паровозы. . . .

Топъ-Топъ! Вотъ игрушки. . . .  
24-е Декабря. Почему Ты не отвѣчаешь, Топъ-  
Топъ?

Хочешь, а Тебѣ устрою Елочку?  
Вотъ пряники! . . . Или, можетъ быть, Тебѣ  
разсказать сказочку — про Мурку или про  
Волка?

Тебѣ страшно? Ты все зовешь свою Маму?  
Мама Твоя здѣсь! Мама никуда не уйдеть!  
И папа тоже!

Ничего не бойся, мы съ Тобою! И я около  
Тебя ничего не боюсь. . . .

Ты говоришь, что идутъ „больсевики“? Они  
не придутъ — ихъ папа не пустить! —  
Папа!! Да онъ имъ развѣ страшенъ?

Онъ стоять передъ иконой нѣмой, и перо выпало изъ его рукъ. . . .

---

Топъ-Топъ умираеть и умираеть героемъ.  
Настоящій Доброволецъ!

Онъ уже не говоритъ. Но въ его умныхъ сѣрыхъ глазахъ, которые почти закрылись, я читалъ:

„Папа! Смотри! Учись умирать. Я не боюсь Смерти! Я боюсь Волка, Козу, Больсую Куклу!  
Стласиую.“ . . .

Да, не надо бояться беззубой Гостьи:

Ее надо ждать, какъ возлюбленную на свиданіе.

Родная, не ревнуй!. . .

Тогда мы будемъ сильнѣе Смерти и Ее побѣдимъ.

---

Тебя хоронилъ мрачный священникъ.

Кадилъ и торопился, читалъ молитвы и глоталъ слова, крестиль и отмахивался корявой рукой.

Потому, что у него дома жена и сынъ умирали отъ тифа.

Тебя отпѣвали въ церковномъ подвалѣ и на упругомъ мраморѣ Твоего лба положили слова молитвы. . . .

Ты уже полтора года, съ тѣхъ поръ, какъ Тебя научили молиться за папу, за маму, за родныхъ и за всѣхъ солдатиковъ, повторялъ есъ каждый вечеръ:

„Святый Боже, Святый Крѣпкій, Святый Без-  
смертный, помилуй насть.“

Когда Тебя везли на кладбище, одѣтаго въ  
голубой, лѣтній костюмчикъ, въ которомъ, пом-  
нишь, Ты встрѣчалъ нашихъ.

Топъ-Топъ. . . .

извозчикъ гналъ лошадь, боясь, что мало  
заплатить.

Тебя хоронили за Малаховымъ курганомъ,  
моего героя. Вѣдь Ты тоже умеръ за Россію.

Я теперь никуда не уйду отсюда. Иди же Ты  
— пѣмая, страшная, беззубая! . . .

Если не придешь, я притащу Тебя за костлявую  
руку!

Наконецъ-то и я стану неодушевленнымъ  
предметомъ: не буду думать, не буду чувствовать,  
не буду плакать!

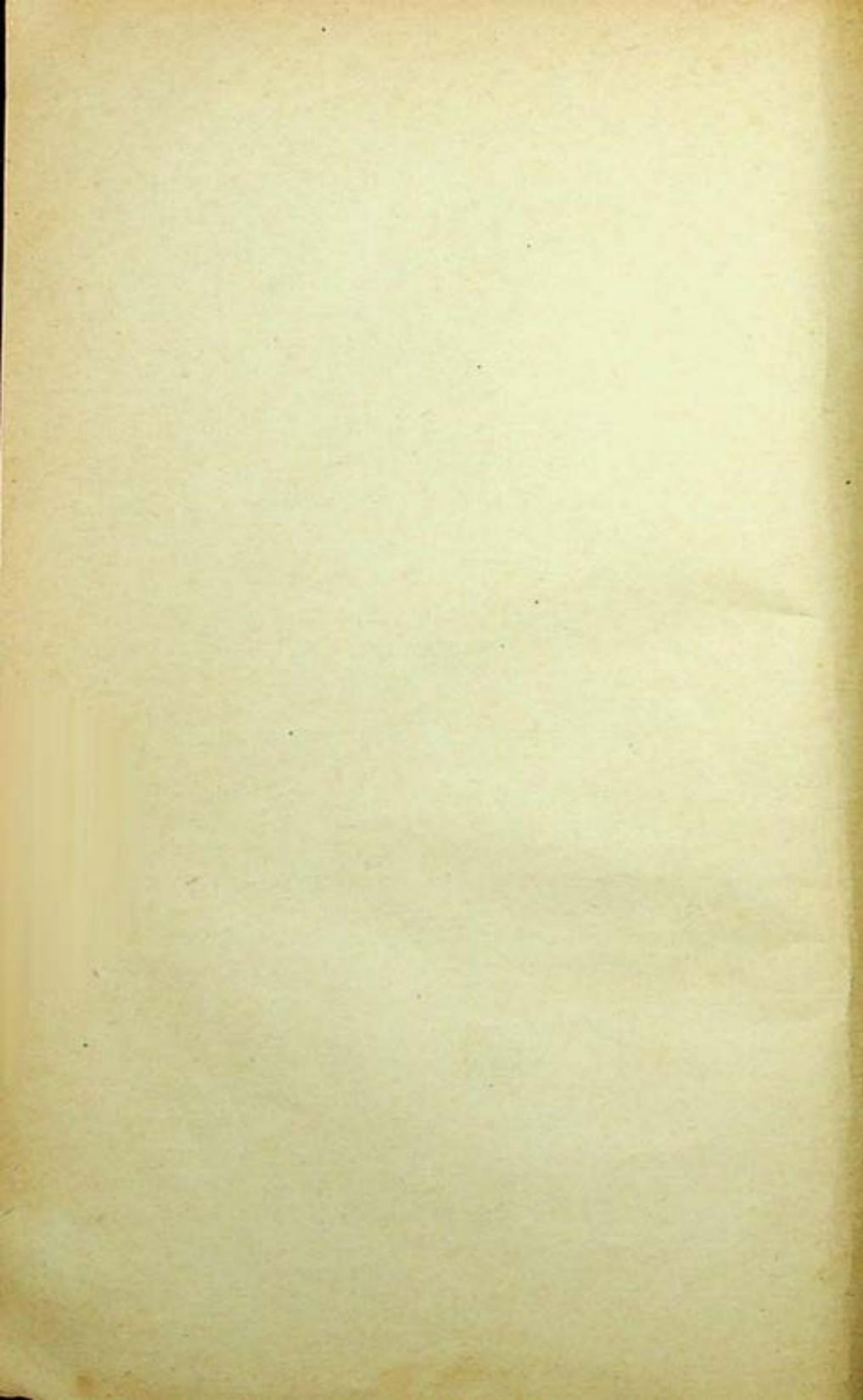
Буду лежать вотъ тутъ подъ этими камнемъ,  
вперемѣнку съ безымянными трупами сыпноти-  
фозныхъ.

Если ты, конечно, Родная, свалившись раньше.  
Чей чередъ? . . .

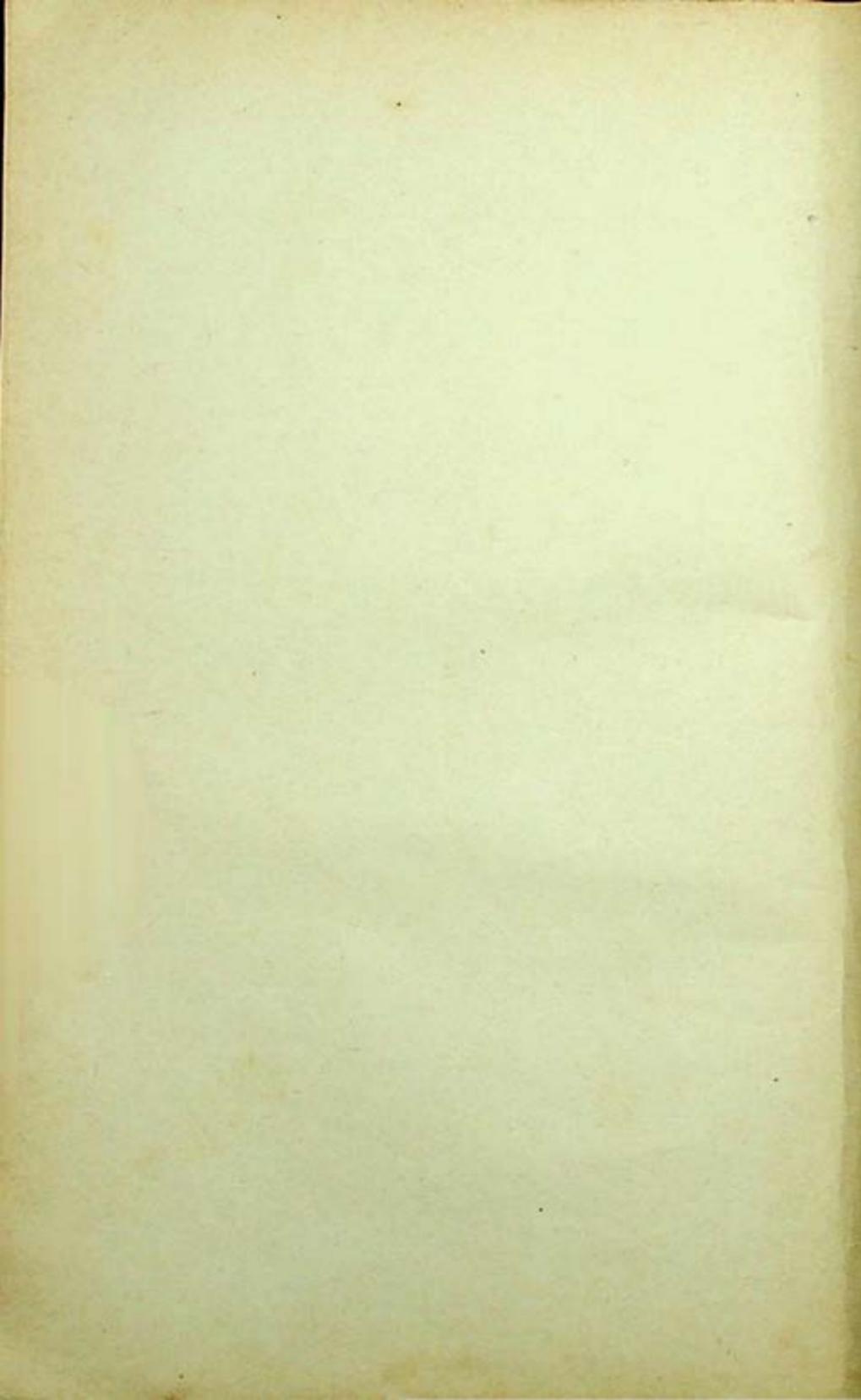
---

„Святый Боже, Святый Крѣпкій, Святый Без-  
смертный, помилуй насть.“





# **СИМФОНІЯ ОТЧАЯНІЯ.**



---

*Respicce finem.*

I.

*Andante.*

Смерть постучалась въ наши двери! — Отворите!

Открыли. . . .

Вошла, взяла самое дорогое и унесла въ черную пустоту иенастья.

Жизнь кончается. . . . Мы были нужны Ему, нашему Маленькому.

Теперь Его нѣть. Значить и бессмертія нѣть; ибо въ дѣтей, послѣ нашей тѣлесной смерти, переселяются души взрослыхъ.

Что-жъ — я готовъ! Только такъ бы хотѣлось умереть дома, или чтобы хоть кто-нибудь оплакалъ и запомнилъ мѣсто, гдѣ меня закопаютъ.

Думай о концѣ!

Да, теперь я понялъ, что означаетъ эта латинская поговорка.

---

Я испепелилъ сердце воспоминаніями объ этихъ трехъ ночахъ у преддверія Твоей могилы.

Ты лежалъ мертвый подъ покрываломъ, въ кортос Тебя спящаго, но живого завернули тогда, послѣ Крещенія.

Ты вытянулся, какъ струна. . . . Сталь больши мъ и серьезнымъ не по лѣтамъ. И скорбная улыбка легла около Твоихъ безкровныхъ губъ.

Ты точно жалѣль маму и папу, что причинилъ имъ такъ много горя.

Ты вѣдь у насъ былъ такой добренъкій!

Вспыльчивый, какъ порохъ, какимъ долженъ быть настоящій мужчина, и добрый, какъ Ангелъ, сошедшій съ неба.

Ангеламъ не мѣсто на многогрѣшной землѣ, среди звѣрей, пожирающихъ другъ друга. — Вотъ Ты и ушелъ.

И хоть по временамъ мнѣ казалось, что Ты сладко спишишь, Ты все-же сталъ неодушевленнымъ предметомъ.

Мы положили на Твою истерзанную смертью грудь икону Христа Младенца (благословеніе бабушки), мы разсовали во всѣ уголки жалкаго гробика еловыя шишки, которыми Ты забавлялся предъ смертью, какъ забавлялись взрослые три съ половиной годика Тобой, мы поставили около Твоего изголовья, вмѣсто цвѣтовъ, чахлую елочку, Твою послѣднюю елочку.

А мнѣ такъ хотѣлось похоронить съ Тобою, въ одной огромной могилѣ, всѣ красивѣйшіе цвѣты весны и лѣта, мой срѣзанный, голубенький Цвѣточекъ!

Сумерки крались и таяли, часы бѣжали, какъ минуты, три послѣдніе дня съ Тобою вмѣстѣ, какъ три часа приговоренного къ смерти.

Могила все ближе и ближе. . . . Слышиши, Родная, какъ ее копаютъ для нашего мальчика?

Слышишь стукъ первыхъ комьевъ земли,  
которые навалятся на Его измученную грудь и  
раздавятъ ее?

---

А вдругъ Онъ проснется тамъ? — Я читалъ  
гдѣ-то, что это случается.

Это пробужденіе — самая страшная изъ всѣхъ  
существующихъ человѣческихъ пытокъ.

Но неужели судьба не пощадить Его?

Кого Его? — Да вѣдь Его же больше нѣть,  
потому что, когда я въ послѣдній разъ растегнулъ  
пуговки Его лифчика, что-бы поцѣловать худень-  
кое тѣльце, запахъ тлѣнія отравилъ мнѣ разсу-  
докъ!

---

А гдѣ-жъ душа? — Ея, стало быть, тоже нѣть?  
— Значитъ и Бога нѣть: ни Бога, ни діавола, ни  
добра, ни зла, ни неба, ни ада?

Есть небытіе, а въ бытіи — лишь воспріятія  
зрительныхъ и слуховыхъ первовъ. А сердце  
заблуждается, въ особенность когда любить и  
тоскуетъ.

А если нѣть ничего, тогда и меня не должно  
быть!

---

А гдѣ-то звучитъ настоящая жизнь. Свѣтлая,  
какъ утро, омытое ночною грозою въ іюнь. И та-  
кая же прекрасная!

Вспоминается дѣтство. Туманный Красавецъ-Петербургъ, въ туманной дымкѣ образъ красавицы матери, поблекшій отъ времени.

Моя *alma mater* — этотъ бѣлый храмъ науки съ девизомъ между дорическими колоннами:

*Respice finem.*

Подъ нимъ-бюстъ Принца и двѣ статуи — Цицерона и Демосфена — волшебниковъ слова.

А позади — массивныя двери въ алтарь Минервы, установленный драгоцѣнными книгами съ корешками изъ свиной кожи.

Здѣсь бывалъ Сперанскій, слушалъ философию Чайковскій, вдохновлялись Сѣровъ, Величко, Апухтинъ, Жемчужниковы.

Отсюда вышли на подвигъ безкорыстнаго служенія Родинѣ судьи, волшебники слова и пера, храбрые солдаты, монахи, ученые. . . .

Гдѣ вы?

Свободная жизнь среди родныхъ и друзей, посвятившихъ меня въ тайны звуковъ, царскій балетъ, оранжереи въ Царскомъ, гдѣ цвѣли розы и орхидеи, прекрасныя, какъ плѣнныя королевы.

Безумства юныхъ лѣтъ, пиры за чашей пѣнистаго вина, ночные тройки въ япварѣ, одинокія прогулки въ бѣлляя ночи на Елагинъ. . . .

Гдѣ всѣ это?

Я предсказалъ мои послѣднія дни въ одномъ стихотвореніи, написанномъ семнадцати лѣтъ.

Вотъ оно:

Миѣ снился жуткій сонъ, какъ будто бы порывомъ Безжалостной борьбы, кровавой и глухой,

Я принужденъ страдать въ изгнаны сиротливомъ,  
Вдали отъ Родины, ненужный, всѣмъ чужой.

Земной порядокъ паль: въ борбѣ за власть и золото,  
Какъ звѣри стали всѣ, и меркнетъ бѣлый свѣтъ.  
Съ оружіемъ въ рукахъ восстали братъ на брата,  
А я — въ изгнаніи, замолкнувшій поэтъ!

Это было въ 1907 году, когда первая смута  
теряла власть надъ умами.

Какъ я боялся съ отроческихъ лѣтъ революціи!  
— Больше войны.

Словно чуяло сердце, что она возьметъ у меня  
самое дорогое.

Не домъ, не книги, не карьеру, не жену, не  
родину, но единственнаго малютку-Сына.

А съ Нимъ и вдохновеніе, ибо душа моя унижена  
и растоптана въ грязи распоясавшагося хамства.

За что? За то, что я всю жизнь грезилъ о сво-  
бодѣ духа и не пролилъ ни одной капли крови:  
ни врага, ни друга?

За что мы всѣ такъ мучаемся? Если въ церк-  
вахъ не лгутъ, этихъ страданій не допустило бы небо.

Вѣдь я же всегда вѣрилъ, что добро существуетъ  
и торжествуетъ!

Да, я не причинилъ никому зла. Развѣ вотъ  
этимъ малымъ, повѣрившимъ мнѣ и потянувшимся  
за мною. И я ихъ погубилъ.

Помню въ Евангеліи отъ Матфея сказано:

„А кто соблазнить одного отъ малыхъ сихъ,  
вѣрующихъ въ Меня, тому лучше было бы, если  
бы повѣсили ему мельничный жерновъ на шею и  
потопили въ глубинѣ морской.“

За что? — Я ропщу, я почти что богохульствую,  
но вѣдь я же человѣкъ. Мною владѣютъ страсти!

Гдѣ вы, призраки юности, вы, которыхъ меня  
любили, Россія, которую я такъ любилъ, что  
потерялъ Сына? Все погибло! Я умираю! . . .

Смерть опять постучалась въ дверь, вошла, но  
не къ намъ, а взяла съпнотифозную бѣженку изъ  
Екатеринослава.

Ея мужъ-офицеръ сражался гдѣ-то подъ Одес-  
сой, а она умерла на твоихъ рукахъ, Родная.

Закройте всетаки дверь! Я самъ себя убью,  
когда миѣ станеть невыносимо, какъ жалитъ себя  
тарантуль, окруженный огненнымъ кольцомъ!!

А мимо оконъ все несуть и несутъ. Сегодня  
хоронили трехъ юношей, истекшихъ кровью на  
морозѣ по дорогѣ отъ боя до госпиталя, и старого  
генерала, у которого раздавилъ сердце, какъ чере-  
покъ, съпной тифъ.

Смерть стучится всюду и въ ворота Крыма, и  
въ мое окно! — Слышите?

Но я не хочу стучаться головою о крышку гроба.  
Миѣ не надо гроба, Родная. Такъ лучше: и де-  
шевле, и свободнѣе.

А то пожалѣютъ дерева, и гробъ будетъ и ко-  
роткій, и тѣсный. —

Ну войди теперь, ты, нѣмая, беззубая! Я все  
знаю! Безсмертія нѣть — это сказалъ миѣ врачъ,  
лечившій Сына.

Есть животное, именуемое человѣкомъ, изды-  
хающее, когда нѣть хлѣба!

Родиая, пойдемъ куда-нибудь, гдѣ веселятся,  
какъ, помнишь, тогда въ январѣ? Будемъ слушать  
неясную музыку, есть, пить и смѣяться.

Но такъ какъ это будетъ нашимъ послѣднимъ  
ужиномъ, у меня есть средство забыться навсегда.  
Это черный опій, который я досталъ обманомъ у  
чернаго аптекаря.

Вотъ оно горькое зелье забвенія.

Только бы не смалодушничать и не запросить  
въ послѣднюю минуту противоядія у полицейскаго  
лекаря!

Тогда онъ будетъ меня бить по щекамъ и, руга-  
ясь, поить сквернымъ кофе безъ сахара, зная, что  
я прокляну его, вместо гонорара.

---

Ахъ какъ хочется музыки Чайковскаго и Реби-  
кова, воснѣвшихъ дѣтскій балъ около русской  
елки, въ снѣжныхъ хлопьяхъ!

Старички, танцующіе жеманный гросфатеръ,  
мальчики и дѣвочки въ бѣлыхъ платьицахъ, взяв-  
шиеся за руки для неслышнаго хоровода.

Какъ славно пахнуть нагорѣвшія свѣчи! Под-  
сохшія иглы елки трещать на шаловливомъ огнѣ,  
и ихъ смолистый запахъ смѣшивается съ арома-  
тами разбросанныхъ по паркету непослушными  
ручками мандариновыхъ корокъ, фіалковой пудры  
молодыхъ мамашъ и степенныхъ сигаръ папашъ.

Милыя дѣти, вы кружитесь, какъ снѣжныя  
хлопья, не подозрѣвая, что от тепла близка, какъ  
мотыльки вокругъ ласковаго огня, который обож-  
жетъ ваши крыльшки!

Ангелы-дѣти! Жизнь — совсѣмъ не медъ, а хина, которою кормитъ васъ сердитая мама, когда у васъ въ жилахъ загорается огонекъ смерти.

Огонекъ, отъ котораго пепелятся ваши крылышки, чтобы на утро ваши трупики вымела бы вмѣстѣ съ соромъ Служанка Рока.

---

Вѣтеръ воетъ въ трубѣ нетопленной печки. Миѣ не въ чёмъ идти завтра въ очередь за хлѣбомъ, такъ какъ мои ботинки истлѣли тогда на Донецкомъ углѣ, когда я, ощущая губами, какъ пробѣгалъ огонекъ смерти подъ бархатной кожей Сына, дни и ночитопилъ печку растворенной настежь теплушкѣ.

Вся Россія — теперь одна колоссальная очередь за хлѣбомъ. А вокругъ шныряютъ волки!

Но намъ нуженъ хлѣбъ по карточкамъ, имъ же кровь — безъ карточекъ! . . .

Опять музыка. Но какая-то странная музыка. — Ахъ это кричать пѣтухи? Который часъ?

Опять хороводъ. Но эти сѣренъкіе, маленькие, вертлявенъкіе — совсѣмъ не дѣти; это — чертеныта!

Да, да, чертеныта: съ рожками и хвостиками. —

Что это они несутъ такое въ липкихъ, суетливыхъ лапкахъ?

Почему они меня такъ услужливо маниятъ въ соседнюю комнату, гдѣ умерла больная отъ тифа?

И какъ маниятъ — какъ добраго, стараго знакомаго, котораго они наконецъ нашли.

Ага. . . . вспомнилъ!!! —

Тамъ на комодѣ пріѣхавшій съ фронта вдовецъ-офицеръ оставилъ черный Ноганъ, отъ выстрѣла котораго и черепъ, и мозги, и глаза, и зубы летять точно плевокъ въ-стѣну.

То-есть къ Сатанѣ!

---

Гудокъ! Шесть часовъ!

Помни, что ты конторщикъ на заводѣ, но всѣ знаютъ, что ты бѣженецъ съ сѣвера и „контрреволюционеръ“.

Я умру, Родная — я не хочу жить! Довольно метаться изъ края въ край. — Одинъ ужъ домечался.

Смерть стережетъ насъ изъ за каждого угла! — Идетъ гибель! . . .

Конецъ всему: мнѣ, тебѣ, нашимъ спутникамъ и сосѣдямъ, Севастопольскому тупику, Крымской бутылкѣ, загаженной, заплеванной, голодной, исходящей кровью Россіи, конецъ обезумѣвшему свѣту!

Всюду кровь: на простынкѣ усопшаго Сыночка, на твоихъ пальцахъ отъ уколовъ Его тѣльца, на моихъ рукахъ, три года стягивавшихъ веревками чемоданы съ тряпья и жратвой, на бѣлой груди убитыхъ и замученныхъ, на штыкахъ убийцъ, на знаменахъ торжествующаго, безстыднаго произвола, именуемаго революціей!

„Попили кровушки? Потѣшились?“

Надъ кѣмъ? — Надъ стариками, женщинами и дѣтьми?

Смерть идетъ, Родная. Я пойду навстрѣчу и  
буду искать ее въ широкихъ, низкихъ переул-  
кахъ, покрытыхъ гололедицей.

Ты негодуешь? Ты готова меня проклясть,  
потому что я надоѣль тебѣ этой игрой со смертью  
и нагоняю на васъ всѣхъ ужасъ.

Это отъ голода.

Поэтому я и ухожу. — Прощай!

Говорить, что передъ смертью надо прича-  
ститься.

Пойду въ первую попавшуюся церковь.

Я знаю, что миѣ скажетъ въ назиданіе священ-  
никъ: сравнить меня съ многострадальнымъ Іовомъ,  
у котораго демоны отняли все и оставили только  
жену.

Я знаю эти пѣсни профессіоналовъ утѣшенія.



## II.

### Scherzo.

Она ушла. . . .

Она ушла въ госпиталь сестрой милосердія,  
чтобы забыться около чужого страданія.

Вотъ ся пустая, несметная постель, на которой  
болѣлъ нашъ Сыночекъ. Вотъ подушка, на кото-  
рой Онъ испустилъ свой послѣдній вздохъ.

Мѣсяцъ скользитъ безучастнымъ взоромъ по  
убогой утвари комнаты.

Гдѣ-то часы пробили десять.

Она не придетъ сегодня; она вообще больше  
не вернется ко мнѣ, чтобы не поддаться отчаянію.

Но я всетаки выйду на улицу: а что если при  
лунномъ свѣтѣ мнѣ примерещится вдали между  
бѣлыми домиками ея косынка?

Выюга неслышно пробѣгаєть по сугробамъ  
снѣга, заполнившимъ улицы, какъ бѣлые волны.  
И холодный повистъ гдѣ-то за Малаховымъ курга-  
номъ ослѣпительно бѣлый дискъ луны.

Когда-то луна согрѣвала меня и казалась  
красавицей. — Теперь это черепъ мертвѣца, кото-  
рый нагоняетъ на меня ужасъ.

Помню январьскія прогулки съ моей любимой по заснувшимъ подъ луннымъ свѣтомъ Петербургскимъ набережнымъ.

Она была тогда тоже сестрой и ухаживала за ранеными.

У меня же была изранена душа.

Мы пришли къ тому, съ чего начали: опять лазаретъ, опять подвигъ милосердія. Только русская женщина способна въ такія минуты отречься отъ себя.

Миѣ же дана судьбой природа мечтателя, и я готовъ замерзнуть, мечтая на морозѣ въ лунную ночь.

Въ низкихъ переулкахъ еще кружатся хлопья уставшей метели. Около одного дома, черезъ запертыя ставни, до слуха доносятся звуки рояля. Мелодіи не слышно, но судя по аккомпанементу, играютъ вальсъ.

Это хорошо, что я слышу только аккомпанементъ: миѣ нашепчетъ мелодію тотъ голосъ, который упрямо зоветъ меня къ прошлому и не даетъ заснуть одинокой ночью.

Нарядный вальсъ поднимается мучительно-сладостной волной къ сердцу и кружить голову.

Вальсъ, полный то бурного веселья, то безотчетной тоски, пѣвучій, медленный и плавный.

Вальсъ, заставляющій грезить о какомъ-то прошломъ, котораго никогда не было, желать будущаго, которое никогда не случится.

Луна смѣется и шепчетъ, что у меня никогда не было прошлаго. — Ты лжешь, обманщица! — Я столько разъ ошибался въ твоихъ увѣреніяхъ.

Иныя январьскія ночи проводилъ я на сѣверѣ,

когда мой путь шелъ черезъ поле цвѣтовъ, зимнихъ цвѣтовъ, расцвѣтившихъ въ бальной залѣ подъ звуки вальса.

Я танцевалъ мой первый вальсъ съ матерью, когда мнѣ было всего пять лѣтъ. — О, я былъ уже тогда идеальнымъ кавалеромъ!

Я любилъ вальсъ юношей, потому что его объятия въ шумномъ залѣ были мимолетны, но каждая новая подруга вся распускалась при этомъ, какъ цвѣтокъ подъ поцѣлуемъ солнечного луча.

И когда мелодія гасла, становилась пусто и скучно.

Я обожалъ одинокій вальсъ съ женщиной послѣ ужина, когда она, одурманенная сладкимъ хмѣлемъ вина, загоралась и шалила, какъ вакханка. Мы были тогда уже слишкомъ взрослы, чтобы вальсировать на балахъ.

Но мелодія такого вальса, оборвавшись на струнахъ румынского оркестра, уже не гасла въ нашемъ сердцѣ.

И мы становились еще беспечнѣе, когда одинъ за другимъ пропадали усталые огни, и головы клонились ко сну.

Насъ попрежнему опьянялъ этотъ вальсъ, полный то бурного веселья, то безотчетной тоски, пѣвучей, медленный и плавный.

Потому что мы жили настоящимъ. . . .

---

Какъ сладко спится въ январскую морозную ночь въ объятіяхъ любимой!

Ты опять со мною, Родная! Ты пришла, чтобы меня поцеловать. Ты опять будешь ласковой? Я такъ стосковался безъ твоей самой маленькой ласки.

Мы теперь съ тобою, какъ молодожены: одиночие и тихіе.

Какое у тебя веселое и страшное лицо! — Ты, въ своей бѣлой косынкѣ, какъ поденѣйникъ, повѣрившій веснѣ.

Серебряная ночь манитъ вдаль.

Мы скользимъ по рыхлому снѣгу, мы бѣжимъ и падаемъ, поднимаемся и снова бѣжимъ, а вокругъ, въ полосахъ луннаго свѣта, тянутся къ намъ колеблемыя вѣтромъ тѣни.

Вотъ мы уже и за городомъ, предъ нами поле, а дальше — занесенные снѣгомъ кресты.

Слышишь, какъ ухаетъ ночь невыразимо тихимъ стономъ, вырвавшимся изъ груди мертвыхъ? Здѣсь похоронены только умершіе рано, и вся земля напоена ихъ плачемъ объ утраченномъ.

Зачѣмъ ты привела меня сюда? — Ахъ да; я вѣдь тоже плачу объ утраченномъ.

Нѣть — это не ты, Родная привела меня! Ты защищаешь отъ этихъ отверстыхъ могилъ живыхъ тамъ, въ очагѣ сыпного тифа.

Это она — нѣмая и беззубая въ косынкѣ тащить меня послушать эти стенанія. —

Итакъ нашъ танецъ оконченъ? Я теперь могу заснуть подъ пристальнымъ взглядомъ луны около креста, на которомъ начертано мое имя?

Неужели, одинокій и бездомный, я нашель наконецъ свое жилище?



Какъ жаждеть покоя измученное тѣло! Какъ  
лунно, морозно и ясно вокругъ!

Какъ сладко заснуть около Него, моего Малень-  
каго. Миѣ теперь ничего не надо.

Меня никто не ждеть, у меня все взяли и я  
теперь никому не нуженъ.

Я дома. . . .



### III.

#### *Allegro furioso.*

Бѣшенные удары врага сотрясаютъ ворота Крыма. Отъ каждой новой аттаки холодаѣть сердце.

Но крѣпка рука Вождя и зорокъ глазъ его. Занявъ Крымскіе перешейки, съ мужествомъ отчаянія, отбиваешь онъ напоръ наемниковъ коммунизма.

Крымъ точно заговоренъ тремя его словами:  
— Крыма не отдамъ!

Какая лихорадочная жизнь въ порту.

Пристаютъ пароходы, выбрасываютъ на него-  
степріимный берегъ толпу плохо одѣтыхъ, гряз-  
ныхъ, голодныхъ и злыхъ людей, быстро приво-  
дятся въ порядокъ и исчезаютъ съ нѣсколькими  
счастливцами на борту въ манящей дали моря.

Всѣ бѣгутъ, у кого есть способы, и утеряна вѣра  
въ свои силы. Бѣгутъ генералы, офицеры, свя-  
щенники; грузятся женщины, раненые и дѣти.

Позади месть чрезвычаекъ; впереди невѣдомое,  
но оно прекрасно, потому что нась тамъ еще  
неѣть.

Вотъ выгрузился большой пароходъ.

Послѣ того, какъ кочующей толпой сошли живые, на носилкахъ вынесли и поставили на берегу рядами трупы умершихъ отъ сыпного тифа.

У всѣхъ мертцевъ сняты сапоги, и изъ подъ одѣяль видны желтая, грязная ноги.

А иѣкоторые продолжаютъ еще смотрѣть въ далекое зимнее небо.

Въ толпѣ передаютъ, что въ Одессѣ многіе офицеры, отчаявшись попасть на пароходъ, бросались съ семьями на автомобиляхъ въ море, лишь бы не достаться краснымъ.

Бѣдныя дѣти! Вѣдь если такъ истребляютъ дѣтей, не будетъ Россіи.

Никакой Россіи не будетъ: ни бѣлой, ни красной.

Это бѣснованіе людей мнѣ напоминаетъ бѣготню таракановъ, которыхъ шпаритъ кипяткомъ кухарка.

Ну а что же дѣлать, чтобы поскорѣе кончить эту агонію?

Вотъ рельсы, по которымъ съ шипѣнiemъ и грохотомъ мчатся поѣзда. — Какъ быстро и просто: положить въ сумерки голову подъ колесо . . . и Гамлетовскій вопросъ рѣшенъ.

Или броситься внизъ головой на дно сухого дока? Или повиснуть на мертвой петлѣ въ темномъ углу двора? Или погрузиться въ волны моря?

Какъ велики были древніе, умѣвшіе уйти отъ жизни во время! И при этомъ они менѣе всего думали о загробномъ существованіи.

Вчера я увидѣлъ съ берега, какъ разсѣкала волны, выходилъ изъ порта английскій дредноутъ. Онъ весь блесталъ чистотою и казался чудомъ техники и комфорта.

И я хотѣлъ крикнуть:

„Эй, вы, возьмите же меня съ собою, потому что вы не имѣете права бросать погибающихъ!

„Возьмите же, если всѣ завоеванія вашей цивилизаціи не обманъ, лицемѣрный и торжественный!

„Возьмите, потому что вы и только вы — виновники нашего братоубийства!”

Море! Чаша кипящаго мрамора или застывшаго сапфира! Твой широкій просторъ раскинулся у моихъ ногъ, чтобы поставить предъ мною безумному бѣгу отъ подвига.

Но вѣдь себя побѣдить — еще труднѣе, чѣмъ природу!

---

Нѣть — въ самомъ дѣлѣ, что заставляетъ насъ такъ цѣпляться за жизнь? — Надежда на лучшіе дни, которые еще можетъ подарить судьба, или страхъ возмездія за гробомъ?

Но какое же возмездіе хуже этого земного ада?

Отойди отъ зла, побѣдившаго міръ, сотвориши благо — не такъ ли? Однимъ голоднымъ будетъ меныше — другіе будутъ дольше сыты. Значитъ я возлюблю другихъ больше себя?

Такъ за что же меня карать?

Да и и не боюсь наказанія! — Я боюсь только одного — не увидѣть никогда больше Его, моего Сына, который умеръ раньше меня.

Если самоуничтоженіе грѣхъ, то миѣ не суждено войти въ ту обитель, гдѣ пребываютъ души ангеловъ и мучениковъ, пріившихъ безропотно вѣнець свой.

Тогда остается путь, избранный тобою, Родная, ибо я долженъ испытать свою плоть и сдѣлать наконецъ этотъ проклятый выборъ.

Кромѣ того, можетъ быть, въ баракѣ сыпнотифозныхъ меня накормятъ, ибо я мучительно хочу ѿѣсть.

Почему, въ самомъ дѣлѣ, въ нашихъ госпиталяхъ лечатъ отъ ранъ, отъ оспы, тифа, даже отъ чумы, и не лечатъ отъ голода?

Почему, когда я буду умирать отъ голода, никому не вздумается отнести меня въ больницу? Почему?

Въ низкой, пропахнувшей нафтализоломъ и людскимъ стадомъ палатѣ я нашелъ тебя, Родная.

Вотъ они — жадно цѣпляющіеся за жизнь, покрыты вшами и грязью, такіе же бездомные, какъ и я.

Одни лежать, вытянувшись, вперивъ въ пустоту пезирчай взглядъ, другіе ведутъ долгій споръ съ химерами и призраками.

Какіе странные и хриплые голоса! Какія муки испытываетъ вотъ этотъ сѣрый скелетъ, бредящій о матери!

Но еще страшнѣе безмолвные, духъ которыхъ уже виѣ тѣла. И пульса нѣть, и дыханія не слышно.

Можетъ быть, къ вечеру вынесутъ ногами впередъ.

Нѣкоторые, раскрывъ рты, жадно ловятъ невидимыя капли.

Другіе жалобно молять дать имъ воды.

А воды во всемъ городѣ иѣть!

Утромъ заходитъ врачъ. Постоитъ у двери, поговорить съ сестрой и уходитъ.

У него вся жизнь впереди, и еще не было сыпного тифа.

Вшами кишатъ койки и одѣяла. Вши вездѣ. Ихъ никто не истребляетъ, ибо это бесполезно.

Пока ни красные, ни бѣлые не побѣдили, но всероссійская вошь-побѣдительница густо покрыла русскую землю и никому не даетъ пощады.

Она хочетъ перекусать всѣхъ, чтобы всѣ заболѣли сразу, и эта проклятая бойня наконецъ кончилась бы!

---

Смерть стучится въ ворота Крыма!

Отворите! Никому не будетъ пощады!

Кого не сразить пуля, тотъ умретъ отъ сыпного тифа, кто уцѣлѣть отъ тифа, погибнетъ отъ голода.

Или сойдетъ съ ума и наложитъ на себя руки! —

Вотъ, что реветь проклятый заводскій гудокъ, трижды потрясая на зарѣ безмолвіе утра.

Насталь часъ пролетарского Страшнаго Суда, „послѣдняя схватка труда съ капиталомъ“!

Замолкла музыка, не слышно дѣтскаго смѣха, юноши не влюбляются въ дѣвушекъ, дѣвушки

остригли косы, писатели грузятъ барки, поэты прислуживають въ ресторанахъ, пѣвцы бросаютъ уголь въ топки пароходныхъ котловъ!

И заводскій гудокъ поетъ торжествующую, побѣдную пѣсню, пѣсню шакаловъ, пирующихъ надъ полемъ разрушения и смерти.

Гибнетъ все слабое, все чистое, честное и красивое. Никнетъ духъ, но приговорено и тѣло, ибо какую же идею, даже самую возвышенную, можно утвердить насилиемъ?

Изъ произвола не рождается братства, изъ насилия — нѣть путей къ свободѣ!

И потомъ какая же это борьба капитала съ трудомъ, когда бѣлые нищи, а красные праздны? Не только праздны, но и сыты, а дѣти ихъ цѣлы и невредимы, и у каждого предъ домомъ грѣется по здоровенной свиньѣ.

Нѣть — здѣсь что-то другое!

Здѣсь борьба ада и неба, здѣсь страшная схватка Чернобога съ Міромъ Идей, которые кладутъ грань между Человѣкомъ и Звѣремъ.

И кто же такие, какъ не демоны, затворились въ стѣнахъ Московскаго Кремля, глумясь надъ его святынями?

Вѣдь и они же, во времена шатанія ихъ деспотизма, можетъ быть, безсознательно, молятся какому-то началу и воскуриваютъ смрадный фимиамъ въ алтарѣ, на стѣнахъ котораго начертано:

„Сотвори себѣ кумиръ.“ . . .

„Погуби отца твоего.“ . . .

„Предай друга.“ . . .

„Убий.“

„Укради.“

„Пожелай чужой жены“ . . .

Часто истомленный пыткой бессонной ночи, я слышу голос Чернобога, вкрадчивый и страшный:

„Поклонись мнѣ — и я подниму тебя. Я уже у тебя все отнялъ, но я имѣю власть, чтобы возвратить.

„Только отрекись отъ своихъ заблужденій. Правъ сильнѣйшій, даже если онъ обезумѣлъ.

„Подумай — можно ли побѣдить идеей вѣбѣсившагося быка?“

Землю окутала черная ночь. Сквозь мглу хаоса мои воспаленные глаза различаютъ острыя крылья демоновъ.

Они кружатся, какъ летучія мыши, и я слышу ихъ торжествующую пѣсню:

„Слава Чернобогу, побѣдившему міръ!“

Я пробую подняться, но ночь ослѣпляетъ меня, и я падаю въ бездну, увидшій листъ, оторванный невиданнымъ иенастемъ отъ родного дерева.

---

Странная въ этомъ году весна: какал-то несмѣлая, точно напуганная зимнимъ кошмаромъ.

Боится ли она растопить снѣгъ въ лощинахъ, чтобы не потревожить покоя мертвыхъ, или мои глаза перестали различать краски, но мнѣ кажется, что на міръ наброшена черная сѣтка.

Развязка близка. Этой весны мы не переживемъ. Моя Сестра заболѣла сыпнымъ тифомъ.

Я догадался объ этомъ, когда въ одно воскресенье въ концѣ февраля увидѣлъ твое пылающее лицо.

Ты была, какъ всегда мужественна, а у меня захолонуло сердце. Но этого надо было ожидать.

Вчера заболѣлъ и фельдшеръ твоей палаты, сегодня — ты.

Развязка близка!

Ты сдѣлала свое дѣло и свалилась. Больше о тебѣ никто не будетъ думать въ этомъ преддверіи ада. Не будутъ кормить, не будутъ давать воды, и лечить даже не будутъ.

„Не помреть, такъ жива будешьъ“, — вотъ, что прочелъ я въ глазахъ врача и сестры.

Что это — халатность или отупѣніе?

Въ палатѣ, гдѣ ты лежишь, еще четыре сестры. Всѣ стриженыя, всѣ бездомныя и голодныя.

У каждой въ прошломъ трагедія вродѣ нашей: разоренный домъ, разлука съ близкими, со многими навсегда. . .

И мучительная жажда жизни!!

Хоть какъ-нибудь, хоть въ собачьей конурѣ, но только бы жить, видѣть небо, солнце, ощущать близкую, благоухающую южную весну!

И ты хочешь жить! По страдальческимъ, полу-закрытымъ глазамъ вижу, что хочешь и ненавидишь меня за то, что я уже похоронилъ себя.

Какъ странно идти по зеленѣющему госпиталь-ному саду, гдѣ обнажились ямы и овраги, и сознавать, что черезъ иѣкоторое время мое тѣло засу-пнуть въ какую-нибудь такую яму, набросаются сверху земли и оставятъ одного навсегда.

А наверху будуть пѣть птицы и радоваться новой веснѣ.

Развязка близка!

Я еще передвигаю ноги: покупаю на базарѣ на послѣднія деньги жалкую снѣдь и что-то варю изъ нея на кирпичахъ въ углу двора.

Отъ меня всѣ шарахаются, какъ отъ зачумленнаго.

Въ госпиталь идти воды — приходится выправлять ее у чужихъ. Миѣ сегодня дала для Сестры жена священника одну бутылку.

Твою голову обрили. Ты похожа на жалкаго, больного подростка, Родная!

Какая гамма мукъ сердца! Какая медленныя агонія.

Пришлось перѣхать на край города. — Когда кляча везла нашъ скарбъ на новую квартиру, въ сумеркахъ гаснувшаго дня, мальчишки приняли наши сундуки за гробы съ трупами сыпнотифозныхъ.

Они не далеки отъ истины!

---

Она поправляется, моя Родная! Кризисъ миновалъ. Она сегодня мечтала, какъ будетъ грѣться на солнышкѣ.

Я не знаю, благодарить ли судьбу? На нашемъ заводѣ забастовка, и всѣхъ настѣ собираются отправить на фронтъ.

Полуживые, мы будемъ разлучены. Неужели же я заговоренъ отъ болѣзни и смерти?



IV.

*Finale.*

„Пара гнѣдыхъ, запряженныхъ съ зарею. . . .“

Миѣ вспомнились эти Апухтинскіе стихи, когда я выводилъ тебя, Родная, на прогулку.

Да, были мы рысаками, пара гнѣдыхъ, которыхъ загоняла судьба.

Видно, ужъ не выгrestи намъ. . . .

Ты еле передвигаешь ноги, а я скоро свалюсь.

Развязка близка.

Зачѣмъ эта птичка такъ беззаботно щебечетъ въ кустарникѣ? И солнце свѣтить, высушивая сырья прогалины?

Этотъ садъ въ госпиталѣ, обсаженный плѣшивыми кипарисами и туями, съ панорамой невозумного моря позади — точно уголокъ Беклинского Острова Смерти.

Вотъ покойницкая, уставленная гробами. Гробы не успѣваютъ отвозить на кладбище.

А по асфальтовымъ дорожкамъ ковыляютъ выздоровѣвшіе, груzzo опираясь на палки. У нихъ видъ мертвцевъ, прогуливающихся въ ожиданіи свободнаго гроба.

Миѣ холодно. Я чувствую разбитость, дряхлость и тупое равнодушіе.

Сколько миѣ лѣтъ? Не знаю — вѣрно, очень много, если меня такъ влечетъ вытянуться гдѣ-нибудь подъ заборомъ или уйти глубоко, глубоко въ землю.

И солнце уже не грѣеть, а слѣпить и раздражаетъ. Мы идемъ и безъ словъ понимаемъ, что мы никому не нужны, что мы здѣсь лишніе.

Пара гнѣдыхъ. . .

---

Родина, Мать, неужели я Тебѣ не нуженъ? Неужели я одинъ изъ тѣхъ миллионовъ маленькихъ и жалкихъ, которыхъ сотреть въ пыль смерчъ кровавый?

Я еще не сказалъ всего, что хотѣлъ сказать. У меня грудь устала отъ рыданій, но сердце такъ любить Тебя-великую, жалкую и такая непонятная никѣмъ ни красными, ни бѣлыми, Страстотерпца-Россія.

Неужели Твое прошлое такъ позорно, что Ты прокляла его? Но народъ, ненавидящій свое прошлое, недостоинъ будущаго. А развѣ Ты уже выполнила свое предназначаніе среди народовъ?

Неужели Ты умрешь въ когтяхъ хищниковъ обездоленная, осиротѣвшая, всѣми презираемая?

Неужели не встрепенешься Ты и не скажешь грубо посягнувшимъ на Тебя:

— Прочь! Я жить хочу!

Родимая, вѣдь теплится же еще гдѣ-то вѣра  
въ Бога въ Твоихъ нѣдрахъ? Гдѣ-то молятся въ  
скитахъ, гдѣ-то любятъ и прощають другъ другу?

И размахнувшаяся дубина кудлатаго сорви-  
головы опускается безмолвно предъ словами мо-  
литвы, которую онъ когда-то слыхалъ отъ родной  
матери?

Я знаю, что иѣкогда свершится великое чудо:  
Ты воспрянешь, Ты проснешься и Твой гнѣвный  
голосъ оборветъ чары Чернобога.

И содрогнется міръ весь отъ Твоего негодова-  
нія, и всѣмъ страждущимъ, обездоленнымъ и уни-  
женнымъ — всѣмъ найдется мѣсто у Тебя на  
груди, всѣмъ дашь Ты кровъ, кусокъ хлѣба и  
ласковое слово.

Но еще не настали времена. Еще должны по-  
гибнуть многіе. . . .

---

Это было въ началѣ марта, когда, придя на за-  
водъ, я узналъ, что всѣхъ рабочихъ расчитали.

Гудокъ по утрамъ безмолвствуетъ. Я могу послѣ  
бессонной ночи дремать подъ грудой тряпья хоть  
до полудня.

У меня новый собесѣдникъ: старый нищій, си-  
дящій на мосту по дорогѣ въ портъ.

Каждый разъ, идя въ госпиталь къ моей Сестрѣ,  
я присаживаюсь рядомъ, чтобы научиться у этого  
мудреца жить, не думая о томъ, что будетъ завтра.

Онъ мнѣ открываетъ истину, которая я не  
найду ни въ одной самой умной книгѣ.

Къ сожалѣнію, эти истины узнаешь слишкомъ поздно!

Я принимаю часто свою безконечную усталость за начало болѣзни.

Но однажды утромъ термометръ, поставленный боязливой рукой моего хозяина, показалъ 40.

Сомнѣній не было: я дождался наконецъ того, чего такъ мучительно желалъ.

— Слушай, отрокъ, я сегодня ложусь въ госпиталь. Насталъ мой чередъ. Если выскочу, буду другимъ человѣкомъ. Если умру, туда мнѣ и дорога. Такъ дальше жить нельзя.

Поддержи сестру и напиши матери, гдѣ меня закопали.

Я не смѣю заболѣть въ чужомъ домѣ. Поэтому помоги мнѣ встать, но отойди всетаки отъ моей постели.

Ахъ да, — вотъ подушка, на которой я засыпалъ въ домѣ матери. Она мнѣ будетъ изголовьемъ.

Ну вотъ я и готовъ.

Прощай!“

Мнѣ приходятъ на память послѣдніе стихи Микель Анжело:

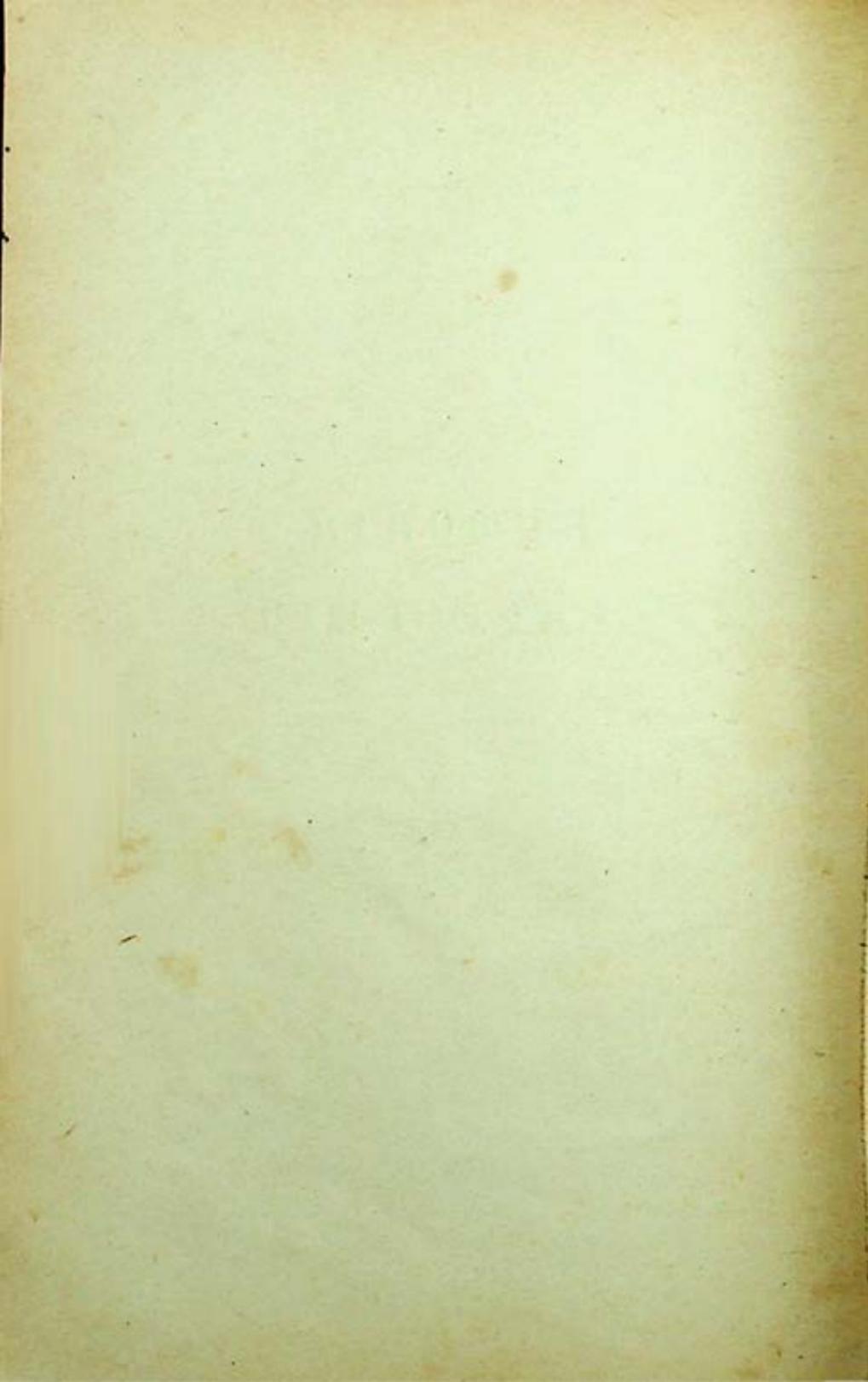
Я удаляюсь мало помалу. . . .

Тѣни растутъ, солице заходитъ,

И я готовъ упасть изнеможенный.



**СИМФОНІЯ  
ВОСКРЕСЕНІЯ.**



---

---

*To, что ты спьешь, не ожизваетъ, если не умретъ.*

*I Кор. XV, 36.*

I.

*Adagio.*

У насъ двѣ души: одна отъ мужа, другая отъ дѣвы. Одна смѣлая и сильная, другая — исполненная робости и сомнѣній.

И чѣмъ сильнѣе любовь, соединившая мужа и дѣву, тѣмъ упорнѣе борьба рожденныхъ ими раздвоенныхъ душъ. До края бездны доводить настъ часто этотъ долгій поединокъ.

И когда обѣ онѣ падаютъ въ бездну, люди называютъ это Смертью. Но если гибнетъ слабѣйшая, другая овладѣваетъ нами безраздѣльно.

Это наше спасеніе, это — милость Бога.

Для новой жизни, пройдя черезъ горнило борьбы и смерти, встаетъ тогда человѣкъ. И другимъ рождается міръ его духовному взору. Ибо онъ, боязливый и метущійся, заглянулъ во враты вѣчности и постигъ мудрое спокойствіе Смерти.

Надо упасть, чтобы подняться, и обезумѣть, чтобы стать мудрымъ.

Надо умереть, чтобы воскреснуть.

---

Когда ты меня увидала, Родная, на порогѣ тифознаго барака, я прочелъ въ твоихъ глазахъ:

— Мы погибли!

Но я же тебе давно это сказаль.

Воздухъ обезьяниника захватилъ мнѣ дыханіе.  
Въ палатѣ стояла желтая мгла отъ давно немытыхъ, непропускавшихъ весеннаго солнца оконъ.

Да, вотъ оно, преддверіе смрада и тьмы могилы.

Съ покорностью мертвеца, котораго укладываютъ въ гробъ, я легъ на освободившуюся койку.

Меня раздѣли, уложили подъ одѣяло и остали на същеніе насѣкомымъ.

Двоє изъ моихъ соѣдей посмотрѣли на меня съ любопытствомъ; остальные не подавали признаковъ жизни.

Въ моемъ тѣлѣ начинался острый ознобъ, и между глазъ кто-то неумолимый сверлилъ черепъ.

Затѣмъ все уплыло куда-то вдалъ. Сознаніе погрузилось въ мутныя волны, и покой безразличія сковалъ члены.

---

Деревянный мостъ черезъ узкую, глубокую рѣчку въ деревнѣ. За мостомъ — на двѣ версты прямая аллея тополей.

Въ лѣтнее утро я иду черезъ мостъ съ Сыномъ.

— Топъ-Топъ! Держись за папину руку, а не то упадешь въ воду.

И Топъ-Топъ, цѣпко ухватившись рученкой за мои пальцы, дѣлаетъ большиe шаги, чтобы миновать эту противную рѣчку, гдѣ купаются лошади и тонуть дѣти.

Старая няня сле поспѣваетъ за нами. Она озабочена. Вчера на дворѣ кто-то говорилъ, что на краю села двое волковъ среди бѣла дня задрали лошонка.

— Няня, берегите нашего лошоночка! Пуще глаза!

Такъ говорю я ей теперь каждое утро, уѣзжая въ городъ.

И мое сердце сжимается, когда старая уводить Сыночка гулять въ поле, и Его бѣлый колпачекъ мелькаетъ все дальнѣе и дальнѣе. . . .

А лошади увозятъ меня въ другую сторону за оконицу двора. Дорога идеть сперва между крытыми соломой мазанками, потомъ полями спѣлой ржи и пшеницы.

За косогоромъ видѣнъ городъ, затуманиенный дымкой людскихъ заботъ и треволненій.

Но безмѣтежность полей долго не выпускаетъ меня изъ своего плѣна. Я дремлю, убаюканный лѣнивымъ бѣгомъ доморощенныхъ коней.

---

Съ каждымъ днемъ болѣй постепенно терять сознаніе. Никого не узнаетъ. Иногда порывается встать и шарить по одѣялу руками слѣща.

— Ахъ, Господи, бормочеть онъ суетливо: вотъ наказаніе-то! Мигъ надо идти на базаръ, а потомъ на службу. И обѣдъ я же долженъ варить. . . . Ты меня не пускаешь, а у меня такъ много дѣла....

Моляцій взглянуть затравленного звѣря по временамъ становится безумнымъ. Разсудокъ оставилъ его. Кто знаетъ, быть можетъ, навсегда.

Сидя на койкѣ съ поджатыми подъ себя ногами, и поводя мутнымъ, невидящимъ взоромъ, нелѣпый и страшный, онъ долгими часами разыскиваетъ забившихся въ складкахъ его одѣяла чертей.

Насторожится, цѣпкимъ движенiemъ рукъ поймаетъ невидимаго врага и запахивается, осторожно перекладывая свою добычу изъ одной руки въ другую. . . .

---

— Господа! Потушите огонь и приготовьте ваши винтовки!

Такъ говорить комендантъ нашего поѣзда — неуклюжий офицеръ-категористъ въ полуушубкѣ,

Лежа въ повалку въ переполненной теплушкѣ, мы замираемъ.

Безконечный поѣздъ эвакуируетъ на югъ бѣженцевъ.

Идемъ, неслышно крадучись, черезъ густые лѣса, покрывшіе берега Донца. Эти лѣса кишмя кишать бандами.

На желѣзнодорожномъ мосту поѣздъ еле движется. Это самое опасное мѣсто. — Здѣсь всегда бывають нападенія.

Ну и пусть нападаютъ! Можетъ быть, шальная пуля прекратить, наконецъ, этотъ тараканий бѣгъ?

По утрамъ, въ безмолвіи холоднаго разсвѣта, издали доносится орудійная пальба. Гдѣ-то въ высотѣ гудитъ моторъ аэроплана.

Красные опять прорвали фронтъ. Нашему злополучному поѣзду не уйти отъ красныхъ!

Боже, неужели это конецъ, и все произойдетъ,  
какъ рисуетъ по почамъ больное воображение? —

Близкое татаканье пулемета. . . . Внезапная  
остановка поѣзда . . . Жалкое сопротивление растер-  
павшихся мужчинъ. . . . Истерические вопли жен-  
щинъ. . . . Одинокій плачъ испуганного ребенка....

И . . . бѣство съ поѣзда: подъ вагоны, подъ  
желѣзодорожную насыпь, въ лѣсъ, въ поле —  
куда глаза глядятъ!

И дикая расправа со всѣми здѣсь же, около  
вагоновъ, какъ съ клопами, съ сыпнотифозными  
вшами! И дикое торжество враговъ съ печатью  
Звѣра на лбу!

— Нѣть — скорбѣй, скорбѣй! Пустите меня!  
Я самъ потащу поѣздъ! Я буду руками и зубами  
крутить эти лѣнивые колеса! Пустите же меня!!

---

Кто это поетъ низкимъ баритономъ подъ акком-  
панементъ разбитаго рояля?

Спите, орлы боевые,  
Спите подъ хладной землей.  
Вы заслужили, родные,  
Славу . . . и вѣчный покой. . . .

Ахъ это-молодой студентъ, котораго однажды  
вечеромъ провожала на братоубийство мать, прію-  
тившая насъ въ Бахмутѣ.

Цссе . . . Слушайте, какъ плачутъ русскія ма-  
тери: тихо и покорно. Почему? Отчего онѣ не

завоють всѣ сразу истошимъ голосомъ при видѣ гибели цвѣта Россіи? Можетъ быть, отъ этого воя проснулось бы безучастное зимнее небо и пролило бы на головы подстрекателей дождь огненный?

— Мама! Позовите мнѣ маму! Она павѣрное плачетъ.

Ахъ эти ночи, когда поѣздъ вдругъ сорвался, какъ бѣшенный и помчался южными степями!

Но демоны гонятся за нами по пятамъ.

Видя, что я ухожу отъ нихъ, они отправляютъ своимъ ледянымъ дыханіемъ моего Сына.

По ночамъ паровозы воють нестерпимо, какъ голодные собаки передъ бѣдой. Топъ-Топъ вздрагиваетъ въ жару и въ бреду, и мы кутаемъ его, во что можемъ. Но степной вѣтеръ буравить стѣны.

Мы не довеземъ нашего Маленькаго живымъ!

---

Глухая ночь! Сыпной тифъ творить свое страшное дѣло. Въ темнотѣ раздаются вздохи заживо погребенныхъ, ихъ бредъ и проклятія.

Одиночное пламя свѣчи борется съ непроглядною тьмою.

Вошла Сестра. . . . Подошла къ одной изъ коекъ. Пощупала у больного пульсъ.

Пульса не было.

Рванулась изъ комнаты. Черезъ минуту вернулась, приведя еще двухъ сестеръ. Молчаливые и бѣлыя, какъ призраки, они крадутся, чтобы сдѣлать вспрыскиваніе.

Опять подошли къ больному. Волниются, дрожать руки. Въ темнотѣ не могутъ найти мѣста для укола.

И вдругъ больной вздрагиваетъ и открываетъ глаза. Усмѣшка кривить губы, и онъ протягиваетъ полуиронически:

— У семи нянекъ дитя безъ глаза! Уходите, мнѣ хорошо!

И снова забываетъ, сосредоточивъ на лбу сурвоя складки.

Окончивъ свое дѣло, сестры удаляются. Но лишь закрылась за ними дверь, больной будить спящаго рядомъ санитара:

— Позовите, пожалуйста, Сестру. . . . Мою Сестру. Она тутъ. . . . недалеко.

Онъ точно боится, что не доживеть до утра. Ему такъ много надо ей сказать.

Блѣдная полоса разсвѣта обозначилась за окномъ. Кто-то его не увидѣть.

---

Онъ вынырнулъ вдругъ изъ пустоты и остановилъ на мнѣ тяжелый взглядъ.

Кто это? — Я боюсь его. . . .

И вдругъ я услыхалъ его низкій шопотъ, отъ которого кровь холодѣла въ жилахъ.

— Ты узнаешь меня? Умники говорятъ, что меня изобрѣли людскія сувѣрія. Но гораздо проще отрицать то, чего нельзя вычислить съ логарифмами или разглядѣть въ пошлое стекло микроскопа. . . .

Сколько вѣситъ солнце — давно точно вычленено, а куда уходятъ мертвые, — обѣ этомъ не написано ни въ одной самой умной книгѣ.

Заглянуть туда — нетрудно, но такой опытъ стоить доброй пули въ лобъ.

Тогда рѣшили, что это задача для дѣтей младшаго возраста и перестали надѣяться ломать голову<sup>“</sup>.

Онъ приблизился вплотную къ моей койкѣ.

— Я пришелъ сюда, чтобы посмѣяться надъ тобою. Ты все понялъ, какъ разъ, когда для тебя это болѣе не нужно. Хорошія вещи приходятъ всегда слишкомъ поздно.

Ты былъ неправъ, когда рѣшилъ, что если нѣть Бога, то нѣть и діавола. Въ томъ то и дѣло, что я Ему уступилъ небо, но зато господствую на землѣ. И если здѣсь на землѣ бытіе Бога подвержено такому сомнѣнію, то въ моемъ существованіи ты уже не можешьъ сомнѣваться.

Но даже тѣ, кто упорствуютъ, отрицаютъ меня, — служить мнѣ безсознательно. Мнѣ важно лишь, чтобы разница между добромъ и зломъ была бы утрачена.

Ты видѣлъ этихъ глупцовъ, объятыхъ безуміемъ взаимнаго истребленія? Никогда еще жизнь человѣческая не стояла такъ мало, но никогда еще живые не боялись такъ смерти, какъ сейчасъ, убивая другъ друга.

Своя жизнь — благо; чужая — зло.

Вотъ къ чему привела больная мечта о свободѣ. . . .“

Но тутъ очертанія духа тьмы стали слабѣть, и  
голосъ его донесся изъ дальняго угла:

— Скованный рабъ, молящійся темной ночью  
звѣздамъ . . . ближе къ небу . . . чѣмъ разбившій  
цѣпіи . . . чтобы опрокинуть солнце. Ибо есть силы  
выше земныхъ владыкъ — это страсти . . . чело-  
вѣка. . .

— Страсти — мое . . . царств . . . — замерло  
въ пустотѣ.

Затѣмъ зрачки его мелькнули гдѣ-то сбоку, и  
все заволокла сѣрая мгла.

---

Тонкія свѣчи горятъ въ полутьмѣ желтыми  
точками. Около постели умирающаго столпились  
священникъ, двое мужчинъ въ формѣ, сестра и  
фельдшеръ.

Тихо раздаются пѣснопѣнія чина соборованія.

А съ коекъ безучастные взгляды слѣдятъ, какъ  
расплывается изъ кадила синій дымъ. У иного  
похолодѣеть подъ сердцемъ при видѣ отпѣванія  
заживо.

Глухая исповѣдь. . . . Послѣднія молитвы смѣ-  
шиваются съ предсмертными рыданіями и хри-  
пами. . . . Холодѣющій лобъ маікуть миромъ.

А этотъ еще живъ. . . . Длинный и блѣдный,  
съ глазами безумца.

Закончивъ обрядъ, священникъ направляется  
къ нему.

Но моя Сестра опередила его:

— Послушай. . . . Здѣсь батюшка. . . . Хочешь причаститься?

И въ отвѣтъ скохшіяся губы бормочать со злобой:

— Пошли всѣхъ этихъ поповъ къ чорту!

Однако, поздно. Отецъ Феодосій, глухой послѣ контузіи подъ Цусимой, подходитъ съ дарохранительницей на груди.

И чудо свершилось. . . .

Больной насторожился и сѣлъ на постели покорный и тихій. Лицо просвѣтлѣло, точно крыло серафима скользнуло по его чертамъ. Взоръ исполнился торжественностью и покояемъ.

„Вѣрю, Господи, и исповѣду, яко Ты еси Христосъ-Сынъ Бога живаго, пришедый въ міръ грѣшные спаси . . .“ произносить священникъ слова запричастной молитвы.

Но больной еще не вѣруетъ. Онъ автоматически глотаетъ Св. Причастіе и безсильно роняетъ голову на подушку.

И когда Сестра подходитъ къ нему, чтобы поздравить, она слышитъ ровное дыханіе спящаго.

— Будеть живъ. . . . Поправится, говорить священникъ, покачивая сѣдѣющей косицей: у меня примѣта есть: если предъ Св. Дарами пришелъ въ себя, значитъ выживетъ.

И перекрестившись широкимъ крестомъ, уходитъ.

Два санитара, съ лицами палачей, несутъ койку съ трупомъ изъ палаты. Натянутое на голову одѣяло поднимается надъ заострившимся носомъ.

— Боже, шепчетъ моя Родиая: неужели и его  
отнесутъ туда же и оставятъ на ночь посреди кучи  
никому невѣдомыхъ мертвцевъ?

Разсудокъ мутится, ноги подкашиваются. . .

Но слова о. Феодосія звучали такой вѣрой.

„Будетъ живъ. Будетъ живъ“, повторяетъ моя  
Родиая, и слезы робкой надежды подступаютъ къ  
горлу.

За окномъ благоухаетъ молодая листва, и небо  
смотрить на міръ все теплѣе и ласковѣе!

Весна вѣничается съ южнымъ моремъ. . .



## II.

### Alegretto.

Моя душа вернулась въ тотъ городъ, гдѣ мнѣ было хорошо.

Одинокая бродить она ночью по занесеннымъ снѣгомъ улицамъ.

Вотъ нашъ домъ за рѣкой. Широкая улица тонетъ въ сугробахъ снѣга. Ставни раскрыты настежь, и изъ всѣхъ оконъ видѣнъ свѣтъ.

На большомъ, освѣщенному ущерблениемъ мѣсяцемъ дворѣ какіе-то люди поять лошадей у колодца. Кони хрюпать и прядутъ ушами. Обледенѣлые брызги густой корой покрыли тропинку къ колодцу.

За спинами людей блестятъ стволы винтовокъ. На шапкахъ — цвѣта крови и свободы. Это — красноармейцы, только что вернувшіеся съ вечерняго обѣзда.

Напоивъ лошадей, они отводятъ ихъ въ огромный деревянный сарай.

Тамъ, гдѣ стояла наша чернопѣгая ласковая корова, гдѣ мирно мотали торбами доморощенныя Потѣшина, Муцикъ и Васька, — теперь цѣлый табунъ чужихъ разномастныхъ лошадей.

Въ домъ всю ночь не гасить огней. Двери открыты настежь. Теперь здѣсь никого не боятся.

Петербургскій самоваръ поетъ сипло свою наивную пѣсенку, стоя на Петербургскомъ кругломъ столѣ темнаго дуба.

По комнатамъ ходятъ въ шапкахъ. Въ сапогахъ валяются по кроватямъ и диванамъ. На рояль навалены сѣдла, полушибки и потники. Въ дѣтской кроваткѣ, разбитой и изуродованной — винтовки.

Здѣсь игралъ Топъ-Топъ. По этому ковру бѣгали его рѣзвыя ножки. У этого стола перелистывалъ я, когда въ домъ все засыпало, Пушкина, Толстого и Соловьеву.

Здѣсь посѣщали меня робкія мечты мои.

Все это погибло. . . . Зачѣмъ я вернулся сюда? Чтобы посмотретьъ на простираемый чьей-то звѣрской пулей портретъ матери? Чтобы скрежетать зубами при видѣ того, какъ растоптаны и поруганы святыни души моей?

Душа моя — какъ этотъ домъ, когда-то такой родной и уютный и такой страшный теперь. . . . Скоро новымъ хозяевамъ станетъ жутко смотрѣть на это кладбище, гдѣ все жалуется и стонетъ, и они покинуть мой домъ навсегда.

И онъ останется стоять за рѣкой, молчаливый, пустой и огромный, пугая по ночамъ одинокихъ прохожихъ разбитыми стеклами и уцѣлѣвшей въ одномъ изъ оконъ оборванной шторой.

Я вернусь тогда въ весеннюю безлуинную ночь, чтобы грезить о погибшемъ счастьѣ.

Буду смотрѣться въ почернѣвшія отъ тоски  
зеркала и ждать, не войдетъ ли кто-нибудь люб-  
бимый?

Опять подсяду къ другу Дицерихсу, и на мои  
стенанія онъ отвѣтитъ стономъ всѣхъ обор-  
ванныхъ струнъ.

Или мы, быть можетъ, вовсе не будемъ стенатъ?

Вѣдь мы теперь уже не боимся Смерти — мы  
знаемъ, что нѣть ничего ужаснѣе этого земного  
ада! Этихъ подъемовъ и паденій, этой боливої  
любви и смертельной боязни потерять любимое?

Ну что же вы? Были, пробовали взять и не  
взяли!

И наконецъ всетаки оставили насъ въ покой.



### III.

#### Allegro.

Полночь. . . . Перезвонъ четырехъ склянокъ тихимъ шелестомъ пронесся между снастями и трубами кораблей и растаялъ во мракѣ. Точно изъ подъ земли пропѣли гдѣ-то на Корабельной пѣтухи.

И вдругъ зловѣщія тѣни поползли за городъ по склонамъ кургановъ.

Какъ вороны слетаются онѣ подъ покровомъ ночи, чтобы осквернить ту пядь земли русской, гдѣ горсточка героевъ, сотворивъ крестное знаменіе, пятый мѣсяцъ отбивается отъ красной нечисти.

Еще бодръ духъ бѣлыхъ витязей, и тверда ихъ вѣра въ правое дѣло. Зато пусть будетъ смутень сонъ пугливаго бѣженца, и съ плачемъ припадеть къ груди матери ребенокъ. . . . Пусть на посту задремлетъ часовой, и ему приснится гнусная нежить — черная ночь все позволить.

Комиссары съ катанинскими рожами, палачи изъ чрезвычаскъ, гнусные душители и растлители, отравленные виномъ и кокайномъ человѣческие выродки, именуемые коммунистами, — всѣ по-

гибшіе безъ покаянія въ океанѣ людской злобы и мщенія — всѣ слетаются на страшный шабашъ въ апрѣльскую ночь.

Закружились, закрутились вихри чериѣ ночи, подняли столбы смрадной пыли, охнули въ далекихъ оврагахъ и понеслись черезъ лѣса, топи и болота.

И со страшнаго сѣвера мчатся на югъ вереницей дѣти мрачнаго Чернобога.

Въ Крымъ! . . . Въ Крымъ! . . .

Не могли взять Крыма въ честномъ бою, такъ хотятъ осквернить его воздухъ ночнымъ бѣснованіемъ, адскимъ скоморошествомъ и зубовнымъ скрежетомъ.

Вершина кургана вся шевелится отъ жуткихъ гостей; съ хохотомъ и присвистомъ несутся они на зовъ повелителя.

И стонеть отъ ужаса и отвращенія земля, напоенная кровью героевъ.

---

Изъ далекой степи по дорогѣ поднимается на курганъ запоздалый гость.

На немъ рваная солдатская шинель. Онъ тяжело опирается на палку, бросая по сторонамъ мутный, погасшій взоръ.

Какое ужасное лицо! — Лицо мертвеца, вылѣзшаго изъ подъ земли. Руки болтаются, какъ лохмотья шинели.

Когда онъ поднимается на вершину кургана, сборище шарахается въ сторону.

Затѣмъ узнаютъ и подходятъ, оглядывая съ любопытствомъ.

Несется по рядамъ довольный шопотъ:

— Тифъ! Сыпной тифъ пришелъ!

И запоздалый гость, молча, указываетъ на печальную степь, гдѣ за зиму выросъ цѣлый лѣсъ безыменныхъ крестовъ....

И вдругъ вся земля содрогнулась отъ нечеловѣческаго стона! Изъ подъ влажнаго дерна, изъ подъ камней и скалъ, изъ песчаныхъ щелей несся зловѣщій вой, исполненный проклятій и богохульствъ.

Все, что пережили слабые духомъ въ страшный часъ предсмертнаго отчаянія, ихъ чудовищный ропотъ и сожалѣнія, злобные вызовы, оставшіеся безъ отвѣта, и безсильная ярость — все это вырвалось изъ безмолвія и понеслось къ небу, жалуясь и негодуя.

И въ отвѣтъ, когда крики замерли, раздался тихій голосъ. Вкрадчивый до жути, онъ шелъ съ вершины кургана, стлся по склонамъ, заросшимъ кустарникомъ и отдавался въ каждой лопинѣ проснувшейся степи.

,Слушайте меня всѣ, вѣчно метавшіеся между небомъ и адомъ, умершіе подъ чужимъ заборомъ изъ милости, голые и голодные, слушайте, поднявшіе мечъ и погибшіе отъ него, слушайте насильники, бредившіе о свободѣ!

,Слушайте, отвѣтить ли вамъ небо?

,Оно было такое же нѣмое и безстрастное, это голубое небо, отразившее всю глубину своей бездонной пустоты, когда вы радовались и страдали, молились и роптали, убивали и умирали.

„Оно не отвѣтить вамъ и сейчасъ.

„И если тамъ нѣть жалости, то должна ли она жить въ людскихъ сердцахъ?

„Столько, сколько синѣеть небо, я-владѣю міромъ. Я владѣю вашими страстями, но только самые мудрые изъ васъ признаютъ мое могущество.

„Они давно отвернулись отъ этого безмолвнаго неба, и я даль имъ власть надъ людьми.

„Жизнь — это борьба, и лишь утомленный борецъ спить въ могилѣ спокойно, безъ раскаянія о своей святости.“

И изъ безчисленныхъ грудей растетъ и ширится торжествующая пѣснь:

— Слава Чернобогу, побѣдившему міръ!

Крылья демоновъ чертилъ нависшее, какъ своды погреба, небо. И вихри, чернѣе ночи, крутятъ смрадный прахъ въ лощинахъ.

Словно не будетъ конца безпросвѣтной ночи. . . .

Но чу! . . . — гдѣ-то далеко, далеко изъ подъ земли раздался слабый дѣтскій крикъ:

— Вѣрю!

И сотни чистыхъ дѣтскихъ голосовъ повторили на кладбищѣ это простое слово.

Его подхватили пѣтухи на окраинѣ города и пропѣли въ притаившейся тишинѣ.

„Вѣрю!“ прорѣзalo смрадный воздухъ, какъ молния.

„Вѣрю!“ отозвалось по склонамъ старыхъ холмовъ.

„Вѣрю!“ отвѣтило просвѣтлѣвшее небо.

И вдругъ вся поганая ватага поползла, безмолвная, какъ туманъ, въ лощины и песчаныя щели, стелясь по влажному дерну и тая въ свѣжѣющемся воздухѣ.

Черезъ мгновеніе, какъ будто ея и не было!

На востокѣ алѣла и разгоралась заря. Вѣтеръ, чистый и свѣжій, пробѣгалъ по проснувшимся листьямъ, принося дыханіе весеннихъ полей.

И ранніяя пташка, оправляя онѣмѣлые крылья, бойко чирикала:

— Вѣрую!

---

Апрѣльская ночь притапллась и замерла, точно готовясь къ необычайному.

Межу домами безъ огней идутъ люди, тихіе, торжественные, одѣтые по праздничному.

Въ эту ночь оставлены житейскія заботы и скорби. — Эта ночь Богу.

Одинокій ударилъ въ тишинѣ колоколь: точно вздохнулъ во всю силу своей мѣдной груди. Ему отозвался другой, третій. . . .

И въ высѣ потекли побѣдные звуки, прославляя небо.

Проснувшійся сумракъ оживаетъ огнями. Словно отразилъ звѣздное небо торжественный, гудящій мѣдными голосами городъ.

Сегодня, какъ встарь, какъ и тысячу лѣть тому назадъ, — по городамъ, селамъ и деревнямъ Святой Руси несется величавый набатъ любви.

Чертоги пышныхъ храмовъ и убогія сельскія церкви не вмѣщають молящихся. Чинные и строгіе, они толпятся у входа: въ рукахъ свѣчи — цвѣты вѣры, любви и надежды.

И побѣждала злая чары безпросвѣтной ночи, растопляя слезы въ самыхъ закорузлыхъ сердцахъ и обновляя міръ для новыхъ подвиговъ прощенія, вырывается изъ безчисленныхъ алтарей райская вѣсть:

„Христосъ воскресе изъ мертвыхъ,

„Смертю смерть поправъ и сущимъ во гробѣхъ животъ даровавъ.“

Ее подхватываютъ колокола и разносятъ по всему міру. Ее поютъ съ умиленіемъ, со слезами на глазахъ, безъ счета повторяя незамысловатый напѣвъ. Затѣмъ обнимаются и цѣлются.

И въ эту ночь всѣ, какъ братья. Только любовь и радость безпредѣльная сіяеть надъ міромъ. . . .

И тамъ, гдѣ льется братская кровь — тамъ на далекихъ перешейкахъ — молчатъ пушки.

Къ Свѣтлому Празднику готовятся бѣлые. И чувствуя въ станѣ врага торжественность Святой Ночи, красные вспоминаютъ родныя хаты.

Безцѣльность братоубийства сознается въ эту ночь со всей потрясающей простотой.

Взять подойти ко вражескому стану и крикнуть весело и празднично:

— Христосъ Воскресе!

И получить въ отвѣтъ радостное:

— Воистину Воскресе!

Но еще сильны враги Христовы. . . . Еще не настали времена. Еще многие должны погибнуть, чтобы крѣпче построилась Русь.

Русь, Страдалица, страшный судъ творится надъ Тобою, и только одинъ день въ году дано Тебѣ, чтобы радоваться восторгомъ взыскующей любви и скорбѣть тихко объ утраченномъ.

И въ Свѣтлую Заутреню объ этомъ восторгѣ и объ этой скорби величаво гудятъ колокола. . . .

---

Я очнулся отъ ружейной трескотни. Стрѣляли пачками, и въ промежуткахъ между залпами слышно было, какъ ближніе и дальние колокола заводили пасхальный перезвонъ.

Гдѣ я? — Что со мною? — Миновалъ ли кризисъ — страшная лотерея тифа, въ которую такъ трудно выиграть?

Эти мысли зажигались въ мозгу, какъ болотные огни, и пропадали. Разсудокъ еще отказывался что-либо воспринимать. Я могъ пока только видѣть.

Попробовалъ заглянуть въ окно. Но тамъ — чернѣла пустота, опутанная вѣтвями сада.

Колокола гудѣли. . . .

Каждый ихъ ударъ заставлялъ меня вздрогивать, словно я пріобщался къ здоровому пульсу жизни.

„Смерть! Гдѣ твое жало? — Адъ! Гдѣ твоя побѣда?“

Я задремалъ.

Утромъ, лишь солице заглянуло въ палату, я проснулся. Около кровати стояла моя Родная.

Она принесла мнѣ пасхальный явства, которыя пекла ночью у чужихъ. Дрожащими руками раздѣлили мы ихъ и сѣли безъ остатка, глотая слезы.

Дніемъ приходилъ о. Феодосій и говорилъ каждому:

— Христосъ Воскресе!

Потомъ далъ приложиться ко кресту.

Зашла какая-то бабушка и дала изъ корзинки всѣмъ по красному яйцу и по куску кулича. Затѣмъ ушла, виновато прячась въ платокъ.

На меня пахнуло Московской Русью, когда сердобольныя души раздавали по тюрьмамъ колодникамъ пасхальную сиѣдь.

Меня мучаютъ по ночамъ образы минувшаго и разрываетъ грудь тоска о Сынѣ.

Она стала еще острѣе, чѣмъ прежде.

Пришелъ другъ и принесъ яблоки, вино и цвѣты.

Но я не могу смотрѣть безъ слезъ на цвѣты. Эти первыя весеннія фіалки здѣсь, въ очагѣ тифа — совсѣмъ какъ мой срѣзанный цвѣточекъ тамъ, среди нѣмыхъ камней сѣраго кладбища.

Я былъ на краю могилы подъ Свѣтлый Праздникъ, но Божественный Искунитель побѣдилъ Смерть.

Ну а какъ же Топъ-Топъ? Ему вѣдь такъ не хотѣлось умирать.

И когда за окномъ гаснетъ длинный день, и косынки сестеръ скользятъ по саду, какъ приви-

дѣнія, я начинаю метаться на койкѣ отъ остраго  
удушья. Съ коекъ доносится дыханіе спящихъ, а  
слезы лютятся изъ моихъ глазъ неудержанымъ по-  
токомъ.

Затѣмъ, увѣровавъ въ чудо, я засыпаю съ одной  
и той же молитвой на устахъ:

— Боже! Верни мнѣ сына.



IV.

Finale.

Догоравшій день мая купаль въ золотѣ и лазури очертанія далекихъ горъ. Ты вывела меня за руку изъ госпиталя, моя Родная, и мы тихо пошли на край города.

Помню свой первый безумный выходъ изъ налата на второй день послѣ кризиса. Такъ хотѣлось тебя поцѣловать весной. Думалъ, что если я этого не сдѣлаю, у меня не выдержитъ сердце.

Но ты встрѣтила меня съ глазами, расширенными отъ ужаса:

— Безумный! Зачѣмъ ты веталь? У тебя будетъ разрывъ сердца!

Мое сердце, какъ старая больная птица, которую держать въ клѣткѣ и кормить изъ рукъ.

Какъ рѣжутъ глаза юнныя краски! Какъ необычно свѣжъ и ароматенъ вечерній воздухъ!

Отъ каждого вздоха кружится голова, и я шатаюсь точно пьяный.

У меня такое чувство, какъ у заживо погребенного, попавшаго изъ могилы на высокую башню.

— Такъ новы эти неумолчные звуки жизни.

Около какого-то домика мы присѣли — путники, вернувшіеся изъ пустыни.

Откуда эта бодрость въ изможденномъ тѣлѣ?  
Это спокойствіе и ясность разсудка?

Во мнѣ произошла перемѣна. Я освободился отъ того страшнаго другого, мучившаго меня долгіе годы.

Мнѣ никто не задаетъ жуткихъ вопросовъ; что-то оставило меня въ покой, погасло, умерло.... Я смотрю на міръ безтрепетно, вразумленный близостью смерти.

Я слишкомъ долго смотрѣлъ ей въ глаза. Я видѣлъ, съ какой тихой покорностью умираютъ другіе. Маленькие, обыкновенные люди. Еще сильные мучаются, а слабые — тѣ коченѣютъ безъ стона.

Но довольно о смерти. Надо жить! Надо какъ-нибудь прожить положенные сроки: продумать, проходить, проработать.... Все это — вѣкъ нашей власти. И думать объ этомъ безцѣльно.

Каждый вечеръ я засыпаю теперь каменнымъ сномъ.

И только глубокой ночью кто-то неумолимый поднимаетъ меня съ постели, и я выхожу, нѣтвѣрдой походкой, на крыльцо....

Маленький садикъ, стиснутый между каменными оградами, благоухасть абрикосовымъ цвѣтомъ. Воздухъ прозрачный, темно голубой струится, принося дыханіе моря. Но отдаленные стоны ревуна на маякѣ нагоняютъ жуть.

И одинокій плыветъ въ облакахъ за Малаховымъ курганомъ полный мѣсяца.

Ахъ въ эти мгновенія сердцемъ снова овладѣвала щемящая тоска о томъ, что никогда уже не вернется!

Въ эти ночи я быль опять готовъ разбить голову  
о бѣлую стѣну.

Всюду стѣны и камни. . . . Только я еще не  
каменный! Только попрежнему тянутся руки туда,  
въ безмолвную степь, гдѣ я скончалъ свое самое  
дорогое!

„Бѣдный . . . маленький . . . иѣжинъ . . .“  
шепчу я, и сердце купается въ слезахъ.

Когда продрогну отъ ночного холода, возвра-  
щаюсь въ сумракъ комнаты, гдѣ стынетъ одинокая  
постель. . . .

И засыпаю сномъ раскованнаго каторжника.

---

Май быль на исходѣ, когда до Севастополя,  
истомленнаго голодомъ, донесся радостный гро-  
хотъ наступленія.

Какъ случилось это новое чудо?

Повинуясь суровой неизбѣжности, готовились  
бойцы къ новому подвигу. Въ безмолвіи утра  
слѣдили за успокоеннымъ врагомъ. Диемъ плели  
проволоку окровавленными руками, а ночью уга-  
дывали уязвимыя точки.

Молчаливые и сосредоточенные, готовились къ  
упорной оборонѣ, но отдохнувъ, созрѣли для  
буйнаго написка.

25 мая. . . . Еще солнце не вставало, и крѣпокъ  
быль сонъ поганыхъ, когда на фронтѣ перешей-  
ковъ изъ темноты вдругъ вынырнули очертанія  
мрачныхъ танковъ.

Замерли.... Затѣмъ подмяли подъ себя проволочныя тениста красныхъ, качнулись на гребиѣ окопа и съ лязгомъ ринулись въ гущу врага.

Выстрѣлы!.... Крики!.... Кровавая пыль смѣшалась съ дымками разрывовъ.

Въ пробития бреши просочилась пѣхота — неутомимые бойцы съ юными, обвѣтренными лицами.

Эмблема смерти за родину горить на ихъ лѣвой руцѣ. Широкой волной несется пѣснь Дроздовцевъ:

Смѣло мы въ бой пойдемъ  
За Русь Святую!

Задорное ура перекидывается между цѣпями.

Идутъ во весь ростъ, скинувъ англійскія куртки и подставивъ грудь подъ градъ пуль. Трещать пулеметы, ухаютъ трехдюймовки, гудятъ въ солнечной вышинѣ самолеты.

И по желѣзнодорожной насыпи пробѣгаютъ взадъ и впередъ, вздрагивая отъ выстрѣловъ, бронепоѣзда.

А въ это время на Азовскомъ берегу легендарный Слащевъ, наперекоръ штурму, высаживается десантъ.

Вплавь достигаютъ бойцы берега. Сизые силуэты военныхъ кораблей мечтуть молнией.

Краснія заставы не выдерживаютъ натиска и очищаются берегъ....

Зашевелился широкій просторъ Тавріи. Загудѣли отъ конскаго топота зеленые дали....

Судьба Маркса соціализма рѣшается не на баррикадахъ рабочихъ столицъ, а на безбрежныхъ

степяхъ, поросшихъ нетоптаннымъ конскимъ копытомъ ковылемъ.

Цѣлую недѣлю громыхаетъ кровавая сѣча. Во многихъ мѣстахъ бой переходитъ — въ „убой“.

Они побѣдять, эти юноши, вырвавшіеся изъ Крыма, какъ орлы изъ клѣтки. Они всегда побѣждаютъ весной, когда отъ зеленаго шума просыпается Красавица-Россія!

Она ждеть ихъ, какъ Спящая Царевна, одурманенная отравой кровавыхъ демоновъ. Но долгъ путь и труденъ. — Дойдутъ ли?

Какъ первыи силы: съ одной стороны — красный Голіафъ, тяжелый, страшныи, вооруженный до зубовъ; съ другой — бѣлый Давидъ, юный, почти безоружный.

Въ эти страшные дни весь городъ живетъ первою жизнью, какъ тогда, лѣтомъ въ 1855.

Притаились шептуны, мечтавшие о милости красныхъ. А баловни судьбы-портовые рабочіе ловятъ съ жадностью каждый слухъ о новомъ успѣхѣ:

— Можетъ, сало подешевѣеть. . . .

. . . Я переплываю въ лодкѣ Южную бухту. Между сѣрыми громадами кораблей всплескъ волнъ вселяетъ въ сердце спокойствіе и рѣшимость.

Какое наслажденіе эта короткая прогулка въ обществѣ молчаливаго гребца!

У Графской пристани столпилась группа прохожихъ. Кто-то читаетъ вслухъ приkleенное на стѣнѣ послѣднее обращеніе Главнокомандующаго:

„Слушайте, русские люди!  
ЗА ЧТО МЫ БОРЕМСЯ?

За поруганную вѣру и оскорблённые ея святыни.

За освобождение Русского народа отъ ига коммунистовъ, бродягъ и каторжниковъ, въ конецъ разорившихъ Святую Русь.

За прекращение междуусобной брани. . . .“

Дальше, когда до моего слуха доносятся опустынѣвшія слова о землѣ, хлѣбѣ и свободѣ, я отхожу.

Это все неважно. — Это временное. Только бы то, вѣчное дошло бы до сердца.

Выхожу на площадь, гдѣ на камнѣ стоять сутулый адмиралъ. Онъ вперилъ неподвижный взоръ въ море, которому отдалъ свои корабли.

Здѣсь все напоминаетъ о подвигѣ и самопожертвованіи. Каждый камень говорить:

— Люби Россію больше себя.

Здѣсь въ Морскомъ собраніи былъ когда-то перевязочный пунктъ. Сюда пришли первыя русскія женщины на помошь мужьямъ и братьямъ въ кровавой страдѣ.

Образы прошлаго обступаютъ меня, и я чувствую, что завороженъ ими.

А свѣжій листъ вечерней газеты приносить громъ побѣды.

Зычно трубятъ гудки моторовъ, развозя по городу сіяющихъ штабныхъ. И гордые ходятъ до глубокой ночи по бульвару загорѣлые юноши, съ забинтованными головами. . . .

Я опять сижу въ абрикосовомъ садикѣ, стиснутомъ между каменными стѣнами.

Я точно испугался городского шума, испугался, что вырвусь изъ плѣна тоски моей.

Послѣ полудня солнце такое нѣжное. Каждый листъ, каждый стебель смотритъ на меня по новому.

Можетъ быть, потому по новому, что я совершенно другой. Была любовь, домъ, семья. . .

Три весны я выводилъ моего Сына гулять на солнышко.

О, какъ Онъ его любилъ, мой солнечный мальчикъ!

Теперь солнце согрѣваетъ меня одного. И все-таки не можетъ меня согрѣть. Какъ странно-все склонить, даже себя. . . А потомъ воскреснуть и видѣть, что солнце свѣтить попрежнему.

Какъ будто ничего особенного не произошло. . . Мой любимый путь предъ вечеромъ — туда, къ дѣтскому кладбищу. По дорогѣ захожу въ кустарники Малахова кургана и ворую, прячась отъ сторожа, мертвеннюю зелень туй.

Читаю надписи на старыхъ намогильныхъ плинтахъ.

Какъ хороша вотъ эта:

„Помяни, Боже, совмѣстно-павшихъ, оборонившихъ и нападавшихъ“.

Когда рядомъ съ нею взоръ падаетъ на трескучую эпитафию, написанную по французски, сердце наполняется гордостью.

И съ полными руками весеннихъ цвѣтовъ и лапчатыхъ туй, я спускаюсь внизъ. Надо пройти

печальную лощину, гдѣ зимой не было снѣга,  
а лѣтомъ не растетъ травы, потомъ повернуть  
нальво. . .

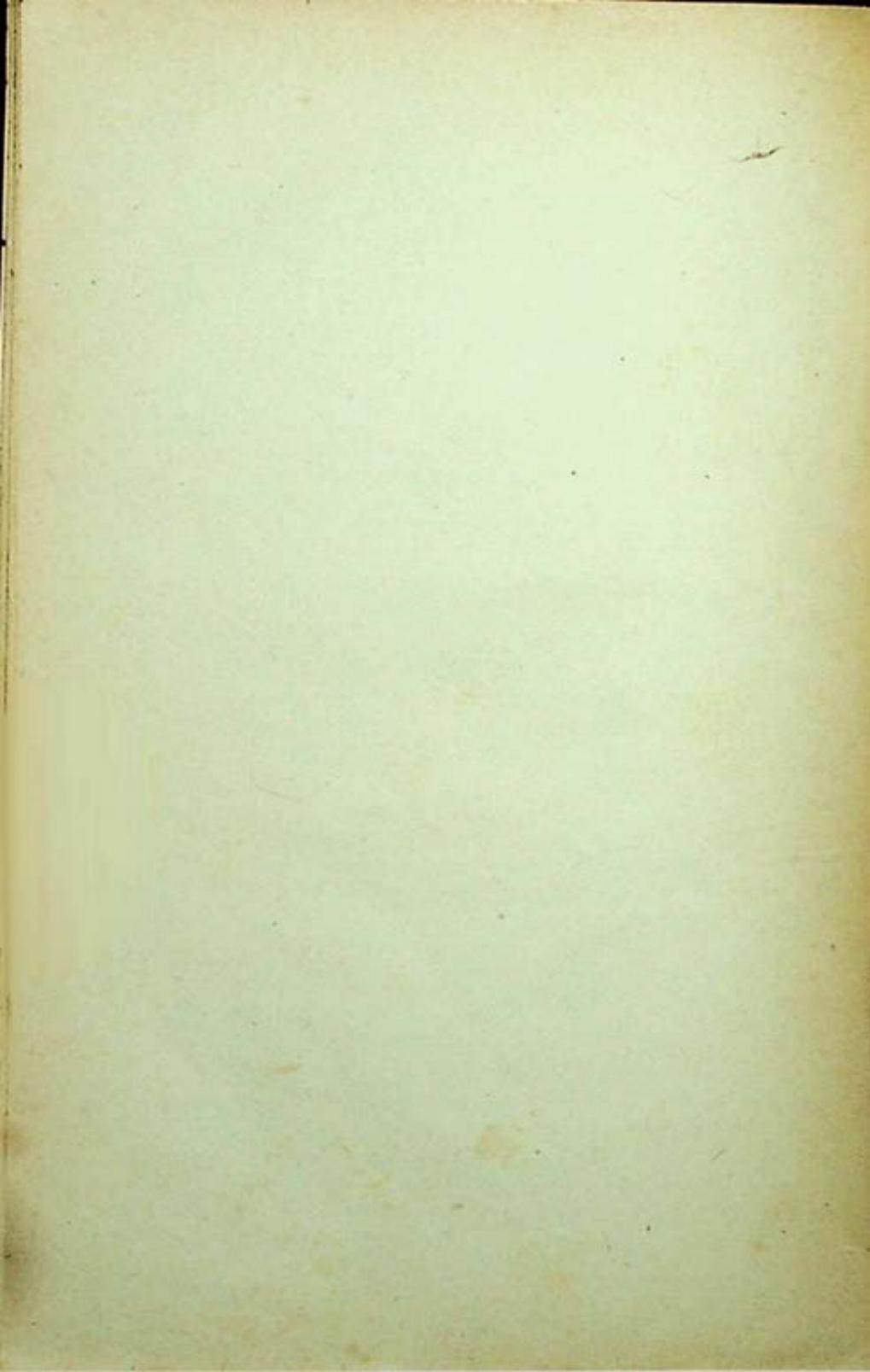
Вотъ онѣ — дѣтскія могилки рядами — страш-  
ная жатва зимы. Около нихъ копошаются братишки  
и сестренки маленькихъ мучениковъ, украшая убо-  
гіе холмики цвѣтами.

И до захода солнца я перебираю съ дѣтьми  
цвѣты и молю небо:

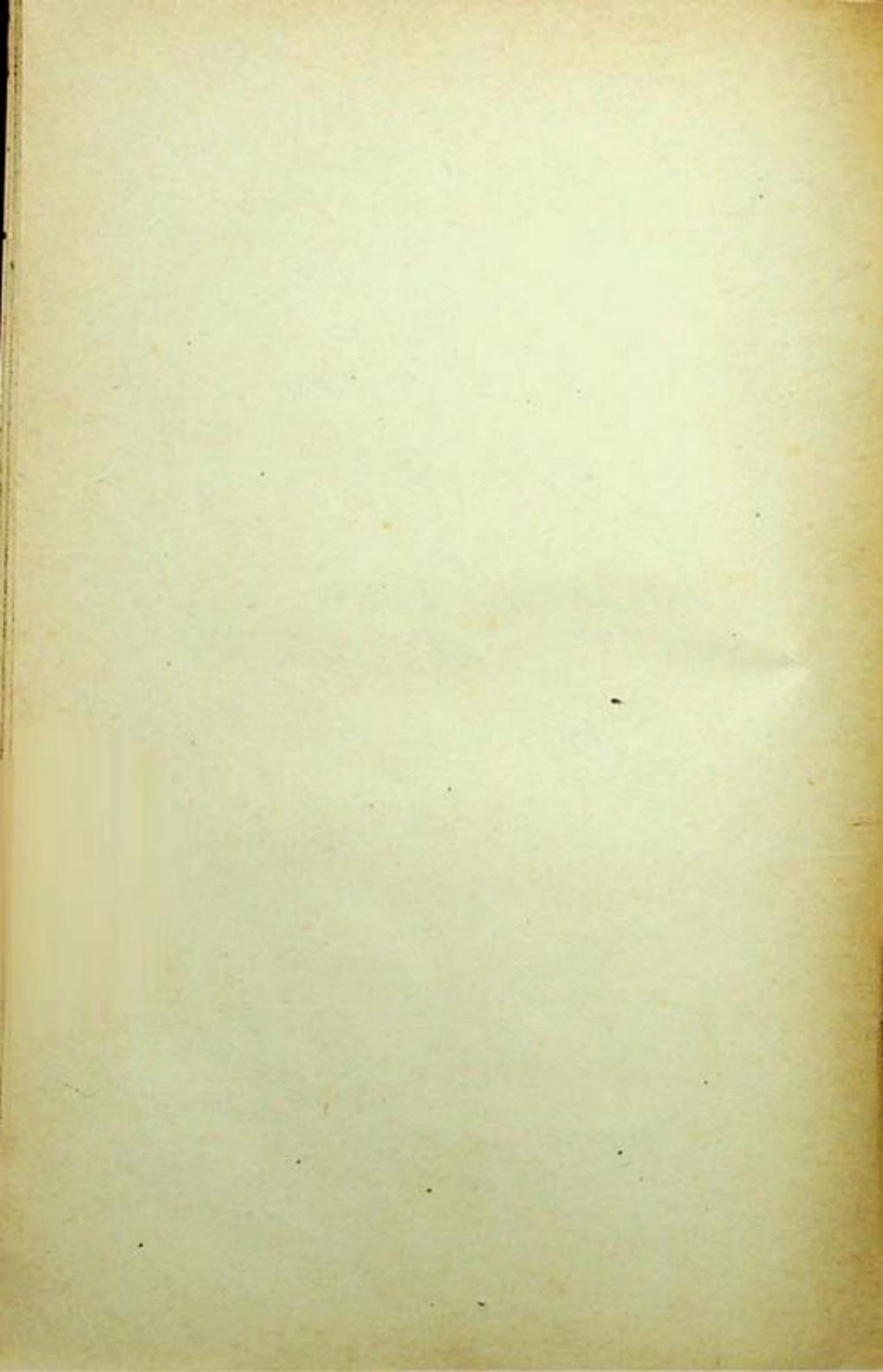
— Боже, верни мнѣ сына.

А изъ безмолвія степи быстро подкрадывается  
ночь. . .





# **СИМФОНИЯ БОГА.**



---

*Въ началѣ было Слово, и  
Слово было у Бога, и Слово  
было Богъ.*

*Отъ Иоанна I, I.*

## I.

### *Andante,*

**Въ** началѣ была Душа, и Душа была у Бога, и Душою быль Богъ. И Любовь была у Бога и Любовью быль Богъ.

Слово, Душа и Любовь были у Бога и вели къ Нему черезъ безсмертіе.

Пришли двуногіе, насилиемъ запретили Слово, сказали, что нѣтъ Души и вытравили изъ сердца Любовь.

И „не стало“ Бога.

А что дали взамѣнъ? — Ложь, которой заставили вѣрить, какъ въ Бога, и плоть, возмутившуюся противъ природы.

А Любовью назвали похоть.

И страхъ смерти обуялъ всѣхъ: подлый, животный страхъ, способный толкнуть на дѣтоубійство.

Отъ безумія спасется тотъ, кто побѣдить Смерть.

Кто во время пойметъ, что Смерти нѣтъ. . . .

---

Мнѣ суждено быть свидѣтелемъ событий, при воспоминаніи о которыхъ будуть шевелиться волосы на головѣ внуковъ.

Такъ было во времена библейскія, въ эпохи переселенія народовъ, въ годы страшныхъ битвъ за вѣру и свободу.

Я думалъ, что проживу всю жизнь въ благословленной тиши моего кабинета, внимая зовамъ прихотливой мечты.

А вмѣсто этого, мнѣ, сыну слабаго вѣка, пришлось увидѣть, какъ братья отнимаютъ другъ у друга хлѣбъ и жизнь.

И тайный голосъ шепчетъ мнѣ: „Возврата — нѣть. Сзади море, впереди смерть. Выбирай: налево или направо?“

—

Я выбралъ. . .

Я видѣлъ этихъ мальчиковъ, ушедшихъ на сѣверъ, въ синюю даль Крымскихъ горъ, чтобы биться за русскую свободу.

Многие изъ нихъ еще не насладились молодостью, не успѣли наслушаться соловьиной пѣсни рядомъ съ любимой, можетъ быть, даже не вкусили сладости первого поцѣлуя, а грѣхи и ошибки отцовъ уже бросили этихъ дѣтей навстрѣчу смерти.

Это про нихъ сказано въ Писаніи: „Вкушай, вкусиль мало меду, и вотъ я умираю.“

О, будьте же трижды прокляты, вы, промотавшіеся отцы!

Ибо, если бы у васъ была хоть капля совѣсти, вы должны были рѣшить вашъ споръ между собою сами съ дубинами въ рукахъ!

Но вы предпочли этому словоблудію за чужими спинами, за которыми такъ удобно грызться изъ за обглоданной россійской кости.

А когда Родина могла дать слишкомъ мало комфорта, чтобы продлить вашу распутную страсть, вы спаслись на чужбину и оттуда предписываете, какъ и за что должна умирать молодежь!

Красные палачи будутъ выметены изъ Кремля! Но главнымъ виновникамъ этой смуты — мѣсто въ первыхъ рядахъ.

Почему военные генералы на фронтѣ, а партійные . . . въ Парижѣ! Вѣдь въ Россіи — борьба партій!

Бѣжалій съ поля слишкомъ рано, теряетъ мѣсто на праздникѣ побѣды.

Времена измѣняются. Уїдуть въ исторію заклейменные потомками вершители судебъ человѣчества. И памятникъ, неизмѣримо болѣе грандіозный, чѣмъ Хеопсовы пирамида, поставть міръ вождямъ и героямъ, принявшимъ на себя первую лавину краснаго хаоса.

И тогда спросятъ меня мои внуки:

— Въ какомъ станѣ былъ ты, въ то великое и грозное время, когда перевоплощалась Русь? . . .

Все это я видѣль и понялъ.

Вотъ почему мнѣ надоѣло быть свидѣтелемъ, и я стала участникомъ рѣшительной схватки.

---

Была еще одна причина. Это — мое полное одиночество.

Я потерялъ Сына, но теперь близокъ къ потери Любимой.

То, что пишутъ въ романахъ про женщинъ и девушки, погибающихъ отъ горя, бываетъ въ жизни.

Насъ, мужчинъ отъ отчаянія спасаетъ неустанный трудъ. Женщинъ — только любовь.

Но кого же любить, если самое дорогое потерянно?

И вотъ, выходивъ меня, моя Родная тяжко надорвала свои силы. Грудь впала, на щекахъ легли сиреневые тѣни. Стала ходить, какъ старуха.

Но она попрежнему на свое посту и въ первыхъ рядахъ.

Кончился тифъ, пришла холера. И чахоточная борется съ холерой.

Пробовалъ уговорить бросить госпиталь. — Поскорились. Умолялъ поберечь себя и получилъ вопросъ:

— Для кого?

И какъ чужая посмотрѣла на меня.

Съ ужасомъ прочель я въ этомъ взорѣ безучастіе и тупую покорность.

Иногда смеется и шутить, но такъ она еще никогда не смеялась.

Наконецъ въ серединѣ июня она получила предписаніе выѣхать въ санаторію, и я проводилъ ее на пароходъ. Съ трудомъ перешли по трапу.

Послѣднія минуты просидѣли, молча, не глядя другъ на друга.

Межу нами легло что-то непроходимое. Слишкомъ много выстрадано, чтобы въ сердцѣ осталось мѣсто для любви!

Растались, какъ добрые знакомые.  
Обѣщала писать. . . .

---

Оставшись одинъ, я съ головой окунулся въ порученное миѣ дѣло.

Встаю до зари, а на разсвѣтѣ погружаюсь въ море навстрѣчу солнцу.

Это раннее купаніе съ бархатнаго берега Кильменъ-Бухты — моя самая большая радость въ теченіе дня.

Цѣлый день живу, охваченный лихорадкой работы. Вижу десятки людей, веду отвѣтственное, сложное дѣло.

Прежде было не на что обѣдать, теперь — никогда.

И когда наступаютъ короткія, южныя сумерки, я зажигаю свѣчи и начинаю вторую часть моего рабочаго дня.

Теперь никто не придетъ, и я могу работать на свободѣ. Въ порту меланхолическія склянки отсчитываютъ быстро бѣгущіе часы.

Скорѣй, скорѣй! Только бы не думать! Лишьто такое короткое!

Недаромъ красные говорятъ:  
„Зима-наша, лѣто-ваше.“

Значить мы должны такъ работать, чтобы и лѣто, и зима были нашими.

Воть почему дни и ночи короткаго лѣта —  
мои! Я работаю шестнадцать, восемнадцать, двадцать  
часовъ въ сутки, какъ автоматъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, вдохновеніе не покидаетъ  
меня. Часто, задремавъ непреоборимымъ сномъ  
на рабочемъ столѣ, я просыпаюсь въ темнотѣ,  
осѣненный удачной мыслью.

Снова зажигаю свѣчи и работаю до тѣхъ поръ,  
пока воздухъ за окномъ не порозовѣеть.

Тогда подхожу къ окну, распахиваю его и  
подставляю воспаленный лобъ подъ утренній  
вѣтеръ.

Винзу, по пустынной улицѣ, четко отбивая  
шагъ, идетъ смѣна кубанцевъ въ черкескахъ.  
Бдуть татары на длинныхъ, дребезжащихъ телѣ-  
гахъ, запряженныхъ парой карликовыхъ-лошадей.

И вдругъ, сотрясая безмолвіе утра, чрезъ  
Южную бухту доносится ревъ заводскаго  
гудка!

Она все та-же эта страшная пѣсня рабочей  
сирены, слившаяся изъ трехъ звуковъ въ минор-  
ный аккордъ, но она дѣйствуетъ на меня теперь,  
какъ ударъ бича.

Со стиснутыми зубами слушаю я ее, и ни одинъ  
мускулъ не дрогнетъ на моемъ лицѣ.

Напротивъ, зачарованный, я улавливаю въ  
этомъ ревѣ нечеловѣческую волю къ труду. Нервы  
натянуты, какъ струны, и самъ я весь — какъ  
струна, способная перепилить мраморъ.

Быстро проносятся въ мозгу картины зимы:  
смерть Сыночка, голодъ, ужасъ предъ смертью,  
болѣзнь. . . . На всемъ этомъ лежитъ отпечатокъ

чуда. Но все это уже позади и никогда не повторится.

Ну а если? . . . —

Тогда я готовъ ко всему! Пусть сбрасываютъ въ море!

А теперь скорѣй за работу. Лѣто такое короткое, но оно — наше!

---

Странное дѣло, можетъ быть, я схожу съ ума, но по временамъ я ощущаю около себя присутствіе духа зла.

Порою онъ играетъ неодушевленными предметами и дѣлаетъ мнѣ рядъ мелкихъ непріятностей.

Но иногда онъ подсылаетъ ко мнѣ своихъ слугъ, и тогда я вступаю съ ними въ единоборство.

Всѣхъ, кого мнѣ теперь приходится видѣть, я окидываю внимательнымъ взоромъ: у однихъ ничего не выражаютъ лица, но у другихъ — ясные признаки родства съ Сатаной.

Или беспокойные, смотрящіе въ сторону глаза, или крючковатый носъ подъ обезьяльными губами, или наконецъ, оттопыренныя уши.

Нѣкоторые до того похожи на пославшаго ихъ, что я не могу скрыть своего отвращенія, и все мое существо поднимается имъ навстрѣчу.

Однако, бываетъ, что діаволъ вселяется въ красивую женщину, и тогда борьба гораздо труднѣе. . . .

Ангелы оставили меня. Потерявъ вѣру, я сталъ игрушкой непонятныхъ чаръ.

Часто ночью, утомленный непосильнымъ трудомъ, я погружаюсь въ странное ощущеніе.

Миѣ снятся отвратительныя существа, измысленія средневѣковаго чернокнижія, и я слышу, точно на яву, жуткій голосъ ларва.

Напрягаю всю силу воли, чтобы проснуться, но просыпаюсь и . . . всетаки слышу тотъ же голосъ, ощаща его присутствіе около себя.

Мысленно творю крестное знаменіе и открываю наконецъ глаза. Кругомъ — тьма. Со мной — иѣть моей Любимой. Зажигаю свѣтъ и смотрю на часы: мой сонъ длился иѣсколько минутъ.

Снова засыпаю и сплю до разсвѣта безъ сновидѣній.

---

Часто раннимъ утромъ я захожу въ домъ священника рядомъ съ госпиталемъ.

У него нашли пріютъ два іероя — бѣженцы съ євера.

Одинъ изъ нихъ даже профессоръ богословія, другой — умный, старый протопопъ, три раза совершившій путешествіе вокругъ свѣта.

Наша бесѣда, подъ нависшимъ виноградникомъ на фонѣ каменной стѣны, напоминаетъ библейскую сцену.

Только ни одинъ изъ моихъ батюшекъ не похожъ на пророка библейскихъ временъ. Просто испуганные, загнанные смутой въ Крымскій тунецъ старики.

Но бесѣда съ ними наводитъ меня на многіе вопросы.

Долженъ ли быть русскій поэтъ вѣроятнѣмъ, если хочетъ, чтобы его творенія стали непрѣблѣдимыми?

— Да, долженъ. — Пушкинъ, Лермонтовъ, Гоголь, Достоевскій, Вл. Соловьевъ, Алексѣй Толстой были глубоко религіозными людьми, и они творили для вѣчнаго.

Это не только величайшіе литературные таланты, которые трудятся для современниковъ, но геніи, обладавши даромъ предвидѣнія. На нихъ, несомнѣнно, почтеть благодать Бога. Ихъ можно уподобить древнимъ пророкамъ.

Ибо, какъ тѣ пророки были посланы Богомъ, чтобы обличать заблудшихъ, воодушевлять слабыхъ и карать неисправимыхъ, такъ въ наше время какая-то неземная сила посыпаетъ геніямъ слова вдохновенія.

Эта сила не отъ людей, которые рукоплещутъ лишь продающимъ свой талантъ на ярмаркѣ, имеящею литературой. И не отъ природы эта сила, ибо она удивительнѣе всѣхъ чудесъ природы.

Эта какая-то высшая сила, которая, какъ искра падаетъ съ неба въ существо избраннаго, тлѣеть въ немъ въ дѣтскіе годы и разгорается къ періоду возмужалости въ священный огонь.

Россія погибла, потому что ея таланты послѣднихъ лѣтъ были лишены этого огня. Отрицая душу, они лъстили себѣ увѣренностью, что плоть вдохновляетъ ихъ. Ползая, они кричали:

— Смотрите — мы выше солнца!

Какое гибельное самообольщеніе! И какой ужасный конецъ всему!

Да, они все обречены — эти слѣпые обманщики; судьба отнимет у нихъ послѣдию крупицу таланта, и не будутъ они пророками въ отечествѣ своемъ.

Долго ли продлится русская ночь? — Еще долго, но нѣкоторымъ дано распознать, когда придетъ разсвѣтъ.

---

Какъ быстро мчится время! Прежде говорили: время — деньги; теперь: время — дороже денегъ, ибо какая въ нихъ цѣна?

Каждый день приносить извѣстія о новыхъ успѣхахъ на фронтѣ. Разбитъ пѣхотой кавалерійскій корпусъ Жлобы, повстанческіе атаманы перешли на сторону бѣлыхъ. Читаемъ воззванія этихъ неукротимыхъ степныхъ дѣтей, въ которыхъ они призываютъ крестьянъ идти въ „генеральскую“ армію.

Наши раззѣады бродятъ въ тылу красныхъ. Весь югъ охваченъ огнемъ восстанія противъ враговъ вѣры Христовой.

Этого никогда не поймутъ на политическомъ торжищѣ. Это — наше русское дѣло, которое мы должны решить сами, безъ политическихъ зиахарей.

Какіе удивительные типы пріѣзжаютъ съ фронта!

Вотъ — однорукій офицеръ, потерявшій въ бояхъ ногу. Ждетъ, когда сдѣлаютъ деревяшку, чтобы вернуться въ строй.

Воть Тургеневская женщина, которая, странствуя съ мужемъ-офицеромъ, стала кирасиромъ. И какимъ кирасиромъ!

Она прекрасно дерется въ конномъ строю, владѣя пикой лучше, чѣмъ иглой. Говорятъ, сама заколола 18 красныхъ.

Теперь эта Жания д'Аркъ пріѣхала въ тыль, чтобы разыскать пропавшаго безъ вѣсти мужа и подарить ему ребенка.

Ходить въ косынкѣ сестры и смущается отъ мужского любопытства. А еще недавно носилась впереди бѣшенной атаки и бравилась по эскадронному.

Но попрежнему, при встрѣчѣ съ генералами, тянется по старой привычкѣ.

Воть старый полковникъ, дерущійся полгода на подступахъ къ Крыму, какъ солдатъ, потому что у него гдѣ-то въ одной изъ санаторій двое сиротъ-внуковъ.

И слыша ихъ простые рассказы о мукахъ и подвигахъ, я удваиваю усилия и стараюсь перегнать время. Я вырываю у сумракаочные часы и бодрствую, не зная сна, дни и недѣли.

Скорбѣй! Скорбѣй! Лѣто такое короткое! Тамъ льется кровь, сгораетъ матерія, здѣсь тратится энергія, сгораетъ душа. . . .

Да, душа существуетъ и торжествуетъ побѣду! Ибо, если бы ся не было, мое изможденное тѣло давно бы отказалось служить, какъ перегруженная машина.

А между тѣмъ я ношу его безъ устали по гористымъ улицамъ и оврагамъ, по курганамъ и пыль-

нымъ дорогамъ. Возвращаюсь домой поздно ночью на два часа, чтобы быть ближе къ моему Маленькому.

И только когда я бѣгу, спотыкаясь въ темнотѣ, мимо Малахова кургана, прежняя жуть овладѣваетъ мною. Опять гдѣ-то, точно изъ подъ земли, поютъ пѣтухи, и изъ безмолвія степи молчаливые призраки крадутся за мною. . . .

Но разъ вечеромъ посланецъ изъ Ялты привезъ миѣ письмо. Я узналъ знакомый почеркъ и точно предъ близостью большой радости — сердце захватила сладостная волна.

Я не ошибся — моя Родная позвала меня. . . .



## II.

### Allegretto.

На другой день пароходъ увозилъ меня изъ этого рокового города.

Опять море баюкаетъ меня. . . . Опять мелькаютъ и таютъ въ дымкѣ юльского зноя солнечные берега, а съ ними расплывается острота пережитого.

Послѣ кошмара Севастопольской зимы, Георгіевскій монастырь на скалѣ, ущелье Балаклавы, мысъ Форосъ — все это проносится мимо зажмуренныхъ отъ солнечнаго свѣта глазъ, какъ Фата-Моргана.

Къ Ялтѣ подходимъ въ сумерки, когда склоны горъ обозначились задумчивыми огнями.

Однимъ изъ первыхъ переходжу на берегъ и, миновавъ пыльную набережную, поднимаюсь по горной дорогѣ, бодрый, легкій, словно на крыльяхъ.

Я точно женихъ, который спѣшился на свиданіе къ невѣстѣ.

Я не засталъ ся въ санаторіи. Моя Родная пошла меня встрѣтить, и мы разминулись.

Въ ожиданіи я бродилъ по парку, пронизанному мѣсячнымъ сияніемъ.

Голубой воздухъ оживалъ по временамъ теплыми вздохами моря.

Очарованный открывшійся съ высоты панорамой, я притаился у бѣлой стѣны и ждалъ. . . .

Въ первый разъ, послѣ пережитыхъ лѣтъ, я почувствовалъ обаяніе лунной ночи. Какъ лунатикъ, я уже не могъ оторвать отъ бѣлаго диска взгляда: луна царила внутри меня.

Откуда эта сладкая тоска, этотъ рой мечтаний безъ образовъ, эта готовность испепелить сердце на огнѣ юнаго безумія? Откуда эта покорность неназѣбѣжному?

Только бы она меня любила! Только бы на одинъ часъ позабыть все въ этомъ прозрачномъ отъ луннаго свѣта саду!

А тамъ — хоть трава не расті! . . .

Она идетъ. . . . Я вижу ея бѣлый силуэтъ, скользящій между деревьями. Ея походка стала опять легкой и неслышней, какъ у дѣвушки.

Мы оба измѣнились: я — возмужалъ, она — похорошѣла. Ея рукопожатіе горячо отъ лихорадки, но я этого не замѣтилъ: меня захватилъ лихорадочный блескъ ея глазъ.

Мы идемъ къ дому подъ руку: оба настороженные и преподняты. Намъ надо разсказать другъ другу много, много. . . . — Поэтому мы молчимъ.

Въ ея бѣлой комнатѣ — точно въ дѣвичьей — нужны особенные слова, изысканныя признанія.

Изъ открытаго окна откуда-то снизу доносятся тихіе стоны.

— Что это?

Это стонеть умирающая отъ чахотки сестра милосердія. Она умираетъ долго и мучительно.

И чтобы заглушить эти стоны и отогнать неотступно преслѣдующіе насъ образы смерти, я покрываю испуганные глаза поцѣлуями.

Пускай намъ суждено короткое лѣто цвѣтовъ теплицы — это для насъ разсыпаны чары ночи!

Наша жизнь — какъ калейдоскопъ, въ которомъ, по прихоти судьбы, иногда повторяются одни и тѣ же красивые узоры.

Любовь возвращается и утверждаетъ бессмертіе. Ибо сердца сочетаются на радость тѣмъ душамъ, которые стремятся вернуться на землю.

Вотъ почему древніе еще изображали Эрота въ видѣ златокудраго мальчугана съ колчаномъ стрѣлъ. . . .

Въ эту ночь я видѣлъ во снѣ Топъ-Топа. Губы его цвѣли иѣжной улыбкой, но Онъ молчалъ.

Онъ заговорить! Я вѣрю! Я знаю, что Онъ заговорить! Я теперь все понялъ!

Все это совершается по какимъ-то неисповѣдимымъ законамъ, полнымъ неумолимой логики и здраваго смысла.

Я вѣрю! Боже, помоги моему невѣрію! . . .

Эти дни въ изумрудныхъ садахъ Массандры — какъ страничка изъ древней буколики.

Мы гуляемъ по пустыннымъ аллеямъ парка, гдѣ пинії, лавры, кипарисы и эвкалипты перепутаны ліанами и берегутъ даже въ полдень прохладный сумракъ. Мы возвращаемся домой съ руками, полными цвѣтовъ, румяныхъ персиковъ и янтар-

ныхъ грушъ. Мы — какъ птицы, вырвавшіяся на свободу.

Но, чѣмъ сильнѣе ощущеніе радости бытія, тѣмъ горше слезы о нашемъ птенцѣ. Одновременно навертываются онѣ на глазахъ, и мы не можемъ утаить ихъ другъ отъ друга.

Черезъ три дня я перекрестилъ мою Родную у пароходной пристани. Опять разлука, неизвѣстность, тоска. . .

Поправится ли моя Родная? — Буду молить Бога. Я знаю, что нась, мужчинъ спасасть отъ отчаянія — неустанный трудъ; женщинъ — только любовь.



### III.

#### Allegro.

Я сидѣлъ на скамьѣ внутри панорамы обороны Севастополя.

Со мной — одинъ замѣчательный человѣкъ, котораго я зналъ еще по Петербургу.

Твореніе Рубо потрясало своимъ реализмомъ и не давало прийти въ себя. Казалось, что вся эта масса людей, охваченная воодушевленіемъ подвига, замерла на мгновеніе, словно услыхавъ полетъ Божихъ ангеловъ въ вышинѣ.

Ихъ душевный подъемъ невольно передавался намъ. Хотѣлось говорить только о значительномъ.

— Все, что происходитъ теперь на землѣ, говорилъ мнѣ мой собесѣдникъ: есть лишь слабое отраженіе той титанической борьбы, которая идетъ между космическимъ Добромъ и Зломъ.

Три года культивировали ненависть со всей изощренностью, на которую способенъ цивилизованный умъ. Лучшіе погибли и страданіемъ искупили свой грѣхъ. Уцѣлѣли-худшіе, но они затрепетали предъ смертью:

— Какъ? Умереть? А вдругъ тамъ ничего несть? Для чего намъ побѣда, когда насъ не будетъ?

Да, имъ хотѣлось уноенія побѣдої, но такъ, чтобы ни одинъ волосъ не упалъ съ ихъ головы.

А тутъ еще старые льстецы говорили:

— Бога нѣть. Мы устроимъ вамъ рай безъ неба.

И вотъ, обожествляя свою прихоть, уцѣлѣвшіе отъ борьбы повернулись къ врагу спиной. И вмѣсто того, чтобы бросить оружіе и разойтись по своимъ домамъ, они крѣпче стиснули въ рукахъ винтовку, чтобы ворваться въ чужой домъ.

Но отрицаю Бога, люди не могли жить безъ кумировъ. Они не съумѣли вытравить изъ сердца потребности вѣрить во что-нибудь, хотя бы въ лоскутъ красной матеріи.

Только бы вѣрить! Инстинктъ самосохраненія подсказывалъ, что тамъ, гдѣ не будетъ вѣры, наступитъ упадокъ и смерть.

Но они наступятъ и тамъ, гдѣ вмѣсто вѣры, простой дѣтской вѣры, будетъ политическое суевѣріе.

Ибо какая же разница между безпоповцами, хлыстами или скопцами и политическими сектантами, написавшими въ двадцатомъ вѣкѣ на своихъ знаменахъ магическая заклятия соціализма?

— Если всѣ не могутъ быть одинаково богатыми, они зато могутъ быть одинаково бѣдными.

А дальше что? — Зло не въ богатствѣ, а въ господствѣ худшихъ надъ духомъ и тѣломъ.

---

Все это не могло не нарушить міровой гармоніи. Грохотъ удара потрясъ твердь неба.

Зло несказанию усилилось, получивъ миллионы безнаказныхъ пособниковъ. Вѣдь разрушать гораздо легче, чѣмъ созидать.

И, кто знаетъ, можетъ быть, падшій Ангель снова получилъ свободу и поднялъ мечъ противъ Вседержителя?

На помошь Денициѣ пришли души грѣшниковъ, замутившія своими преступленіями эфиръ.

И борьба закипѣла, потрясая планеты и созвѣздія, вліяя на времена года, на холодъ и зной, вѣтеръ и влагу.

Она вызвала изъ подъ земли страшныя міазмы эпидемій, отравила разсудокъ цѣлыхъ націй и обезплодила нивы.

Однимъ винушила корыстолюбіе, другимъ рабскій страхъ, у третьихъ отняла всѣ надежды.

Слезы дѣтей уже не вызываютъ жалости въ людскихъ сердцахъ. Ангелы оставили землю, и не стало дѣтей-цвѣтовъ жизни.

Но и самая долгая ночь кончается. Разсвѣть близокъ, ибо только здоровое побѣждастъ въ природѣ.

Цѣною неслыханного опыта, стоявшаго жизни миллионамъ, народъ понялъ, что сбылся съ пути — дальне дороги нѣтъ.

И поворотъ будеть очень крутой.

Мы освободились отъ господства вещей и научились цѣнить самыя маленькия радости.

Жизнь тяготила многихъ изъ насъ; когда не исполнялись наши прихоти, мы были готовы проклясть небо.

Теперь каждый день страданій лишь распалиять въ насъ жажду жизни.

Прежде, еще не имѣя дѣтей, мы заботились о пропитаніи внуковъ. Теперь мы счастливы, когда Господь услышитъ нашу молитву:

— Хлѣбъ нашъ насыщенный дааждь намъ днесь.

Заглянувъ въ лицо вѣчности, мы поняли, что несемъ искупленіе за забвеніе вѣчныхъ заповѣдей.

Онъ все тѣ-же, когда Христосъ сказалъ:

— Не заботьтесь о завтрашнемъ днѣ, ибо завтрашній день самъ о себѣ позаботится: довольно для каждого дня своей заботы.

Мой собесѣдникъ замолкъ и устремилъ свой взоръ на группу солдатъ, стоявшихъ около Тотлебенской батареи.

Ихъ лица были тѣ-же, что у русскихъ солдатъ подъ Аустерлицомъ, Плевной, Ляояномъ и Варшавой: сосредоточенные и строгія, точно готовыя къ таинству.

И онъ сказалъ:

— Вотъ видите-ихъ отъ отчаянія спасла вѣра, а они отстояли Россію. За это Господь освободилъ ихъ на седьмой годъ.

Вѣрьте и вы, добавилъ онъ на прощанье: и Господь защитить васъ отъ зла. Наши дѣды иссили всегда при себѣ 90-ый псаломъ Давида и читали его въ трудныя минуты жизни.

Попробуйте послѣдовать ихъ примѣру.

---

Да, разсвѣть близокъ. . . .

Мнѣ довелось быть очевидцемъ этого поразительного перелома въ народныхъ упованіяхъ.

Въ сентябрѣ, въ дни покаянія предъ Воздвиженіемъ Креста Господня, я видѣлъ толпы простыхъ, русскихъ людей, шедшихъ въ крестныхъ ходахъ къ преддверію алтарей.

Разочаровавшись во всѣхъ способахъ устроенія ихъ благополучія, которые привели къ гибели, люди прониклись безхитростной мыслью:

— Надо покаяться. . .

И вотъ весь Крымъ, еще не испытавшій гоненій за вѣру, охваченъ одной мыслью исканія Бога.

Слова духовенства о покаяніи и любви, недавно казавшіяся такими избитыми, звучать совершенно по новому въ переполненныхъ молящимися храмахъ.

А что-же дѣлается тамъ — на сѣверѣ, гдѣ вѣроятнѣе преслѣдуются, какъ во времена языческія?

Сердца устали ненавидѣть и мстить. Захотѣлось любви и покоя, ибо изъ противорѣчій и крайностей соткана душа человѣка. Каждая семья пережила потерю любимаго, а то и многихъ.

Уваженіе къ живымъ создаетъ право, любовь къ мертвымъ вѣру въ бессмертіе, т. е. въ Бога.

О, я это самъ испыталъ страшнымъ опытомъ послѣднихъ мѣсяцевъ!

Не надо только угашать духа — надо широко раскрыть сердца для жалости, чтобы потоками слезъ омылась народная душа.

И тогда снова войдутъ въ нее простыя истины, попранныя въ дни великаго искушенія, ибо онѣ намъ нужны такъ же, какъ солнечный свѣтъ, вода и воздухъ.

Я получилъ письмо изъ Ялты:

„Въ дни покаянія народъ боленъ мечтою о Царѣ. Въ звѣздныя ночи стонть онъ, группами, на набережной, вперивъ пристальный взглядъ въ морскую даль, и ждеть, не покажется ли корабль съ Благословеннымъ Гостемъ.

„Но Царь долженъ быть выстраданъ. . . .“

Что это — сказка, иллюзія разстроеннаго воображенія? — Нѣть — это дѣйствие законовъ исторіи, забытыхъ тѣми, кто хочетъ играть судьбой Россіи.

---

Часто думаю о томъ, что принесу я Родинѣ, если останусь въ живыхъ?

Когда-то мы хотѣли сдѣлаться мозгомъ своего народа.

Стремились къ познанію вещей, все подвергали анализу, все сжигали въ лабораторіи разсудка.

Носились съ планами о переустройствѣ вселенской на новыхъ началахъ. Отвергая сложившійся жизненный укладъ, валили въ одну кучу мораль, долгъ, религию.

Хотѣли безъ Бога начать новую эру.

И убили въ своемъ сердцѣ любовь, ибо она не научна.

Получилась гипертрофія ума.

Но вотъ существующее рухнуло и погребло подъ своими развалинами Россію.

Изъ подъ обломковъ должны были выйти люди съ сильной волей, крѣпкіе умѣніемъ созидать.

Но волевыхъ людей не оказалось. И напрасно чистые сердцемъ вопрошали: „Что они съ нашей Россіей сдѣлали?“

Въ средѣ, пораженной анализомъ и безволіемъ, для положительного творчества не нашлось силъ.

Какіе же идеалы могутъ быть у самосожженцевъ, разнудившихъ Звѣря?

За это народъ отвернулся отъ нихъ и предалъ проклятію.

И если мы хотимъ вернуться къ народу, все атеистическое, разъединяющее, тлѣнное должно уступить мѣсто религіозному, соединяющему, вѣчному.

Мы должны прежде всего раздѣлить дѣтскую вѣру народа въ Царствіе Божіе на землѣ.

Потому что синтезъ — есть законъ любви.

Потому что законъ любви есть Богъ.

Но эта новая правда для тѣхъ, кто выстрадалъ до конца въ годину перевоплощенія Россіи. Ибо ничто такъ не обостряетъ дара прозрѣнія, какъ страданіе.

Если у Россіи нѣть мудрой старости, молодежь должна посѣдѣть въ тридцать лѣтъ.

И надо еще, чтобы умерли старые льстецы, ибо смерть одна сниметъ пелену съ ихъ глазъ.

Для нихъ смерть будетъ пробужденіемъ.

---

Я сталъ опять молиться. . . Каждый вечеръ читаю „Отче Нашъ“ и „Святый Боже“.

Эта бесѣда съ Богомъ въ глухую ночь, при

свѣтъ одинокой свѣчи, поднимаетъ меня къ вершинамъ духа.

И цѣлый день жду я съ нетерпѣніемъ той минуты, когда можно оторваться отъ земли. . . .

Да, злоба Деницы был направлена противъ Россіи, потому что въ ея нѣдрахъ жила еще вѣра. Богу угодно было, чтобы наша Родина, во имя спасенія человѣчества, стала опытнымъ полемъ для посѣва ненависти противъ брата.

Такъ было во времена Тамерлана, Батыя, Бонапарта.

Но потомъ воскресла Россія!



IV.

*Finale.*

Я люблю въ сентябрьской вечеръ зайти въ церковь.

Тамъ тихо. Застоявшійся воздухъ густъ отъ запаха ладана и нагорѣвшихъ свѣчей. Никого, кромѣ сторожа у двери и монахини за свѣчнымъ ящикомъ.

Душа наединѣ съ Богомъ.

Я такъ любилъ это въ далекомъ Петербургѣ, про который говорили: „Его дѣти холодны и хмуры.“

А сколько свѣчей день и ночь теплилось въ домикѣ Петра или въ Казанскомъ соборѣ, у Иконы Божьей Матери!

Цѣлые букеты цвѣтовъ вѣры!

Въ трудныя минуты жизни каждый петербуржецъ шелъ въ Казанскій соборъ или къ Спасителю, по мосткамъ черезъ ледъ, чтобы зажечь отъ этого букета свой цвѣтокъ.

А темные силы устроили изъ площади Казанского собора, между памятниками Кутузову и Барклаю, мѣсто красныхъ скопищъ.

Въ ста шагахъ отъ русской народной святыни  
бъсновались лохматые неврастеники и стриженные  
истерички: всѣ неопрятныя, безтолковые и глупые,  
какъ Панургово стадо.

Я любилъ Казанскій соборъ въ минуты юно-  
шескихъ надеждъ, ошибокъ и разочарованій.

И теперь меня каждый вечеръ влечетъ въ  
сладкій сумракъ Севастопольскихъ храмовъ. Много  
жаркихъ молитвъ винтили въ себя эти стѣны, пере-  
жившія великую оборону.

На всенощной, какъ всегда многолюдно: ста-  
рики въ поношенной формѣ, женщины въ черномъ,  
съ печатью застывшаго страданія на лицѣ, дѣти....

Но какія тихія и печальные дѣти!

Иногда, гремя шпорами, входитъ молодежь.  
Перекрестится истово, поставитъ свѣчу. . . .

И уйдетъ, внеся струю боевой напряженности.

Въ осенніяя ночи, когда вѣтеръ приносить ревъ  
гигантаго моря, и дождь хлещетъ въ окна, мой  
сонъ вновь тревоженъ и смутенъ.

Опять слышу его голосъ и не могу проснуться.

Молитва не исцѣляетъ меня. Душа трепетно  
ищетъ чуда.

Какъ-то утромъ встрѣтилъ моего „ментора“ и  
подѣлился съ нимъ моимъ томленіемъ.

Онъ посовѣтовалъ причаститься. . . .

---

Передъ Таинствомъ я вышелъ изъ дома рано  
утромъ.

Шелъ знакомой дорогой по мосткамъ черезъ  
портъ. Шелъ мимо сухого дока, въ который хотѣлъ

броситься внизъ головой, и черезъ рельсы, на которыхъ хотѣлъ лечь тогда.

Вотъ госпиталь — обитель страданія и подвига. Вотъ палата, темная и вонючая, въ которой работала моя Родная. А я ходилъ туда, чтобы заразиться тифомъ и найти смерть.

Но Господь не далъ погибнуть безцѣльно.

Въ церкви нашелъ о. Іоанна. Когда подошло время, онъ исповѣдывалъ меня въ алтарѣ внимательно и просто.

Я покаялся въ своемъ смертномъ грѣхѣ. Въ томъ, что при видѣ общей гибели, не нашелъ въ себѣ мужества съ вѣрою просить Бога о спасеніи моего Сына.

Я слишкомъ рано похоронилъ себя, и Его, и всѣхъ . . .

И не повѣрилъ словамъ Спасителя, который училъ:

„Взгляните на птицъ небесныхъ: они не сѣютъ, не жнутъ, не собираютъ въ житницы; и Отецъ вашъ небесный питаетъ ихъ.“

Отпустя меня, о. Іоаннъ сказалъ:

— Просите Господа, чтобы Онъ еще укрѣпилъ васъ въ вѣрѣ.

Предъ Св. Причастіемъ я жарко молился на томъ самомъ мѣстѣ храма, на которомъ молился предъ болѣзнью за Сына и за спасеніе души своей, въ существованіе которой не вѣрилъ. Тогда вѣры не было, спасла любовь къ Топъ-Топу, котораго хотѣлось еще разъ увидѣть и прижать къ сердцу отца.

Когда я причащался, слезы застилали мои глаза. Какая-то завеса разорвалась предо мною, и я понялъ, что я теперь опять съ Богомъ и на-всегда.

Теперь я ничего не боюсь.

И Бога не боюсь, потому что люблю Его.

Около столика съ теплотой близъ меня оказался маленький мальчикъ, такой, какъ Топъ-Топъ. Я подѣлился съ нимъ просфорой и понялъ, что Господь посыпаетъ мнѣ вѣстника, чтобы утвердить въ моемъ сердцѣ надежду.

Значить Топъ-Топъ вернется!

Вышелъ изъ церкви и, проходя по Корабельной, опять почувствовалъ себя маленькимъ и жалкимъ. Холодно свѣтило солнце, и четки были тѣни.

Поднимался къ Малахову кургану съ головой безъ мыслей. Опять кричали гуси, и раздавался по временамъ стонъ ревуна на маякѣ.

Но на кладбищѣ мнѣ было хорошо, какъ дома. Здѣсь — все мое. Каждый камешекъ, каждый бугорокъ изучены мною.

Вокругъ было пусто, ясно и удивительно красиво.

Съ высоты открывался знакомый видъ на горы, синее море и городъ, въ которомъ все для меня стало значительнымъ.

Около дорогой могилки служили панихида; но на сердцѣ былъ миръ. Въ первый разъ я уже не скорбѣлъ о Сыночкѣ, такъ какъ зналъ что Его душа со мною.

Мнѣ было только жаль Его измученного тѣльца, которое такъ геройски страдало.

Я просилъ моего Ангела, чтобы Онъ охранялъ меня на всѣхъ путяхъ моихъ. У меня уже нѣть страха предъ страданіями смерти.

Вѣдь смерти — нѣть! А предсмертныя муки — не страшнѣе боли при вырываніи зуба въ сравненіи съ блаженствомъ и покоемъ, которые насъ ожидаютъ тамъ.

---

Октябрьскій вечеръ приносить тревожныя извѣстія съ фронта. Красные перешли въ наступленіе и отрѣзали армію отъ Крыма.

Но все это не можетъ омрачить радостнаго настроенія, которое владѣеть мною съ тѣхъ поръ, какъ моя Родная вернулась домой.

Сегодня, замирая отъ счастья, она шепнула мнѣ:

— Поздравь меня. . . . У насъ будетъ маленький!

Потомъ, уловивъ въ моемъ голосѣ тревогу, она говоритъ, заглядывая въ глаза:

— Теперь я не хочу, чтобы насъ разстрѣляли!  
Я хочу жить!

Я успокаиваю ее увѣреніями о неприступности Крыма. И потомъ мы уже искупили свою вину предъ Господомъ.

Она засыпаетъ, утомленная волною нахлынувшихъ ощущеній. Я сажусь за работу.

Холодный вѣтеръ ударяетъ голыми вѣтвями въ окно. На дворѣ непроглядно темно. Въ домѣ тихо до жути: слышно только, какъ мыши скре-

бется за стѣной въ углу. Пальцы стынуть отъ холода и перо выпадаетъ изъ рукъ.

,Господи, неужели опять?“ рождается изъ темноты неотвязный вопросъ.

Я беру завѣтную книгу и перелистываю страницы. Глаза ищутъ знакомыя строки.

И близко надъ самымъ ухомъ кто-то невидимый произносить слова священнаго заклятья:

,Не убоишься ужасовъ въ ночи, стрѣлы летящей днемъ, язвы, ходящей во мракѣ, заразы, опустошающей въ полдень. Падутъ подлѣ тебя тысяча и десять тысячъ одесную тебя; но къ тебѣ не приблизится. Только смотрѣть будешь очами и видѣть возмездіе нечестивымъ.

,Ибо ты сказалъ: „Господь упование мое.“ Всевышняго избралъ прибѣжищемъ твоимъ.

,Ибо Ангеламъ Своимъ заповѣдаешь о тебѣ охранять тебя на всѣхъ путяхъ твоихъ.

,На рукахъ понесутъ тебя, да не преткнешься ногою о камень. . . .“



## **Оглавлениe.**

Вступленіe . . . . .	7
Патетическая Симфонія . . . . .	15
Симфонія Отчаяння . . . . .	37
Симфонія Воскресення . . . . .	67
Симфонія Бога . . . . .	101



Типографія Р. Ольденбургъ, Мюнхенъ.

Y

БРК 15

Главное представительство по продаже насто-  
ящей книги въ предѣлахъ Германіи: Русский  
Книжный Магазинъ „ГРАДЪ КИТЕЖЪ“, Berlin,  
Lützowstraße 80, Tel. Nollendorf 378.

Складъ издания у автора:  
München, Schellingstraße 37/II.